



Татьяна
Соломатина

Акушер-ХА!

Байки

Татьяна Соломатина
Акушер-ХА! Байки

«Автор»

2011

Соломатина Т. Ю.

Акушер-ХА! Байки / Т. Ю. Соломатина — «Автор», 2011

Лучшие истории от автора культовых книг «Акушер-ХА!» и «Акушер-ХА! Вторая (и последняя)», ставших самым главным литературным открытием последних лет.

© Соломатина Т. Ю., 2011

© Автор, 2011

Содержание

«Здравствуйте!»	5
Школьные годы чудесные	7
«Уйня!»	9
Жаркое лето 1988-го	11
Кем быть?	24
Первая ночь	32
Милочка и йод	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Татьяна Соломатина

Акушер-ХА! Байки

«Здравствуйте!»

Увы, все гениальные банальности сказаны, все книги написаны, все жанры не новы.

Шекспир, безусловно, хорош: «Весь мир театр! Все люди в нём – актёры!» Но актёры лишь исполнители. Гениальные и бездарные, искромётные и унылые. И за каждым стоит тот, кто пишет текст. Тот, кто освещает сцену. Накладывает грим, шьёт костюмы, дирижирует оркестром. Ну, и режиссирует, разумеется.

Вы уже успели подумать, что я о театре?.. О писателях или журналистах?.. Нет, конечно. О войне?! Да не приведи господи! Может, о сантехниках?.. Кстати, тема. Наверняка бачок у вас протекает чаще, чем вы ходите в театр. Нет-нет, не у вас лично. Вы, конечно, посещаете все премьеры в Большом. Вот у того унылого гражданина. Впрочем, возможно, он унывает вовсе не по поводу подтекающего сифона. Может, у него просто зуб болит. А плохой цвет лица у дамы из соседнего подъезда вряд ли из-за отложенных гастролей Мариинки. Возможно, у неё что-то с гормональным профилем или муж пошёл за «Клинским», а вернулся с «Путинкой». А у него язва.

А этот малыш почему хмурый? Ах, ему не разрешают кататься на санках, потому что у него аденоиды? А эта симпатичная девушка с большим животом почему кричит на своего дёрганого спутника? Он недостаточно расторопен, а беременных это, знаете ли, раздражает.

А вон тот симпатичный гражданин держится за ухо, а этот – вон тот, тот! – сизоносый – надрывно кашляет. А у соседки бабушка наконец-то померла. Ах, не кривитесь. Конечно, наконец! На вас посмотрю, когда квартира за три года так пропахла старческой мочой, калом и мокротой, что прям хоть грех на душу бери.

А вы-то сами, что? Кардиограмма не очень? Давление скачет? Всё в порядке? Ах, только нарколога с психиатром надо пройти? Да-да, конечно, вам для справки. А вон тому пареньку нарколог бы не помешал. И хороший психоаналитик для закрепления пройденного материала.

У приятеля жена родила? Новорождённого в детскую инфекционку перевели в нечеловеческие условия? А сам приятель в травме? Отпраздновал по полной, родной!

У деда – камни в почках, а у начальника – простатит. Откуда знаешь?! Офис-менеджер на хвосте принесла? Смотри, чтобы она тебе чего другого не принесла!

Буквы расплываются? Шрифт вроде нормальный. Видимо, пора к окулисту, новые очки заказывать. Денег нет? Ну да, мануальные терапевты нынче дороги. Не посещаешь? Зря. Жена всё на косметолога и диетолога извела? Главное, чтобы в гастрохирургии не закончила.

А видишь того, в конце вагона с книжкой? Знаешь, почему он улыбается? Думаешь, у него ничего не болит и рентген ему никогда не делали? Делали. И болит. Сердце болит. Душа болит, хотя и не нашли её патологоанатомы до сих пор. И генетики не нашли. И даже врач-лаборант в эритроцитах и тромбоцитах не узрел. И в моче ничего, кроме фосфатов и уратов, нет. А душа болит у него. А он – улыбается. Потому что врач. Видишь, опять улыбнулся! Он как раз эту фразу сейчас прочитал. И хотя у него те же фосфаты, ураты, почечная колика, зрение, жена и бабушка третий год не ходит, он знает: весь мир – больница. Огромная многопрофильная больница. Со своим приёмным покоем, профильными отделениями, смотровыми, цистоскопическими, рентген-кабинетами и лабораториями, операционными и палатами интенсивной терапии. С моргом и подвалами. С техническими службами и администрацией. С Королями и Шутами, Принцами и Нищими, Повитухами и Могильщиками. Весь мир – больница. И все мы в ней – пациенты.

Поэтому и улыбаются врачи там, где тебе не смешно. И плачут от счастья тогда, когда ты радуешься. И костюмеры у них свои и режиссёры, сантехники и осветители. И болит у них, как у тебя. Душа болит. Потому что пока душа болит – значит, жив. Он жив – ты – жив. И я жива. И весь мир.

Я уже достаточно наговорила банальностей? Хотите взглянуть на пятна Роршаха? Впрочем, нет. Не моя специализация...

Когда деревья были выше, а газоны зеленее, я работала акушером-гинекологом здоровенной многопрофильной больницы.

Но ещё раньше были...

Школьные годы чудесные

Зимние госы были жестокими.

Государственный экзамен по анатомии – это, доложу я вам, не фунт водки. Логика в этой науке нет, а сулькусов и форáменов в человеческом организме понапихано, что тех кротов в неухоженных газонах. А уж про пирамидальные пути и прочую неврологию, о-о-о! Лучше вам не знать.

Сдать нормальную анатомию сложно.

Анатомия. Анатомия и Нина. И студент по имени Саша.

Нина Николаевна ко временам моего студенчества хоть и была ещё железной леди, но уже достаточно ржавой и... Ну, сопромат он и есть сопромат, против времени не попрёшь. Помню чудный случай. Начало первой пары. Столы-столы-столы анатомки. Цинковые столы анатомки... За теми столами, где не лежат сосудистые или мышечные трупы, сидят студенты. Шумят. Или зубрят. Ждут преподавателей. Зал большой. Видимость отличная. Окна огромные. И тут в отверстые врата анатомического зала входит Нина Николаевна. Раком. Только не пятясь, а головой вперёд. Да так практически в коленно-локтевой позе и продолжает топтать, сохраняя неизменно презрительное выражение лица хоть и бывшей, но всё же первой леди Винницкой, а позже и Одесской областей.

Обычно леди Нина входила, горделиво неся свою голову, увенчанную чёрной бархоткой. Пожизненный траурный ободок имел свою трагическую предысторию: в возрасте шести лет погиб второй внук, сын младшей дочери Нины Николаевны, доктора медицинских наук, прежде – заведующей, позже – просто профессора кафедры нормальной анатомии Одесского медицинского института. Внук погиб, потому как его мамке, которая в отличие от старшей правильной занудной сестры больше любила пить, чем, собственно, жить, приспичило «по маленькому» во время разудалого пикника на обочине. И вместо того, чтобы присесть тут же, в посадке, она решила пойти через дорогу. Через трассу. Она была очень сильно пьяна, и только так можно объяснить её внезапную стыдливость. Ибо в более-менее вменяемом состоянии она отнюдь не отличалась хорошими манерами и могла присесть пописать под облисполкомом. В общем, обоих – и маленького мальчика и молодую женщину – сбил грузовик. Сына-внука насмерть, а младшая дочурка Нины лишилась селезёнки, выздоровела и продолжила пить дальше.

Нина же с тех самых пор носила чёрную бархотку на русой тугой косе.

Это было лирическое отступление-пояснение. Рыданий и осуждений не надо. История быльём поросла, ягелем покрылась и снегом припорошена.

Вернёмся в анатомический зал одесского медуна, в 1987 год. Где бредёт Нина, согнутая под девяносто градусов и хоть бы слово кому. Все приумолкли в почтительном недоумении.

И тут вскакивает с места молоденький ассистент Костя и, схватив из шкафа что-то весомое – не то большеберцовую кость, не то ящик с инструментами, может, муляж таза – не помню... Подскакивает к Нине и шандарахает её с размаху по пояснице. В гробовой тишине.

– Спасибо, Костик!!! – в меру радостно, аристократически благодарно говорит по-крестьянски широкая Нина, наконец выпрямляясь во весь рост и облегчённо вздыхая.

Помните рассказ Артура нашего Конан Дойля, где один из главных персонажей страдал люмбаго?

Да-да. Про госы, Нину и Сашу.

У Нины, как и у любого нормального преподавателя, были свои любимчики. Я, к примеру. И тот же Саша. Она, разумеется, входила в состав государственной экзаменационной комиссии. И зорко бдила своих. Мне попадает билет «про сердце», что-то там из истории нормальной анатомии, и смешной вопрос по остеологии. Я благодарю фортуны и сажусь готовиться. С сочувствием глядя, как Санёк уже рвёт волосы на голове. «Что?» – одними губами. «Пирамидальные пути. Поджелудочная. И ангиология».

Конец Саньку.

Он обречённо ковыляет за препаратом. Препараты разложены на цинковом столе. Для не медиков: «препараты» – это печень, селезёнка, то же сердце. И так далее. Вынутые из трупов органы. Отпрепарированные. Выложенные на столе. Бери, готовься, тащи за собой препарат на подносе и отвечай комиссии, где тут чего и как.

Смотрю, Санёк пошёл. Причем даже готовиться не стал, а просто Нина моргнула: «Дуй сюда, придурок!» Он и подул.

И рассказывает ей строение поджелудочной, тыкая в препарат анатомическим пинцетом. Мол, вот тут вот такая долька, а здесь – эдакая. И сосуды называет все по-латыни. Уверенно так. Нина ему кивает одобрительно, да-да, точно-точно, именно то самое, именно здесь, параллельно цепко реферируя окружающее пространство. И тут к ней подходит ещё один профессор из государственной комиссии и, явно недоумевая, пялится в препарат на подносе Санька. Нина профессору ласково, шёпотом:

– Славочка, иди на хер.

Святослав Владимирович без лишнего слова отошёл. Санёк быстро договорил и собрался улепётывать. А Нина ему ласково так:

– Саша, препарат на место отнеси!

Он к столу нагнулся за подносом, а она ему прямо в лицо прошипела:

– Да не на стол, идиот, положи, а в ведро с формалином скинь. Ты же, поц эдакий, мне всю поджелудочную на мошонке рассказал! – И препарат переворачивает. А там – фрагмент мужского хозяйства, формалином навеки вечные дублёный. На шмате кожи. Он на столе препаратов просто наизнанку лежал. Вот Санёк малость и перепутал. Но и дольки и сосуды поджелудочной нашёл, что характерно. А Нина молодец. Хотя, конечно, характер у неё был – только врагу такую родственницу или подругу можно пожелать.

Мы с Саньком по «отлично с отличием» получили. Я-то, к слову, таки сердце принесла, а не матку, например. Хотя по матке сердце ответить можно. На экзамене, разумеется. Только на экзамене.

Если не студент второго курса, а доктор с дипломом, да не в препаратах, а в живом человеке органы путает, то не врачеватель он, а полная...

«Уйня!»

Когда я была совсем юная, а звёзды сияли ярче (потому что на юге всегда звёзды ярче), я училась в Одесском медицинском институте. Сейчас мединституты не осталось – одни университеты и академии. А тогда были институты. А в институтских программах встречались циклы нервных болезней. И был такой профессор... Ну, обойдёмся без фамилий. Не то чтобы светило, но вполне грамотный лекарь. И колоритный дядька к тому же. Балагур, весельчак, и вообще ему надо было актёром стать. Вот где его истинное призвание таилось, на самом-то деле. Но, видимо, его еврейская мама в своё время хотела, чтобы он стал врачом. Вот он и стал. Потому что славянская девушка – она завсегда на какой станции захочет, на той и соскочит. А еврейский мальчик – это диагноз. Даже если тебе шестьдесят. Не без случаев чудесных исцелений, конечно, но не об этом.

Психоневрологический диспансер на улице Свердлова (ныне и совсем прежде – Канатная) особым шиком тогда не отличался. (Как сейчас – не знаю.) Шли всё больше на специалистов, а не на антураж и палаты люкс.

И как-то так иногда получалось, что, скажем, профессор кафедры теоретической физики университета и простой настоящий сварщик шестого разряда делили... нет, не ядро... палату. И ещё человека четыре лежало там же, как правило. Из самых разных социальных слоёв. Потому что особых слоёв тогда не было. А только рабочие, крестьяне и жалкая интеллигентская прослойка, непонятно между какими коржами.

И вот в одно прекрасное утро профессор осматривает другого профессора. Профессор-невролог профессора-физика. Надо сказать, что наш медицинский лицедей любил на осмотры ходить со свитой. Каждый день. Хотя по штату ему обход два раза в неделю полагался. Или по необходимости. Но он любил, чтобы представления почаще и публики побольше.

Идёт он, значит, со свитой: доценты, старшие ординаторы, клины. Студенты. А главное – студенточки. И получается у него уже не банальный обход, а целое театрализованное действие. В результате пациентам становилось хотя бы весело, что тоже важно для выздоровления, согласитесь.

Осматривает невропатолог физика теоретического, а сварщик шестого разряда с койки внимательно слушает. И так тому сварщику профессор медицинский понравился, что он, простой рабочий парень, тоже возжаждал персональной консультации. Свобода у нас и равенство или где?! Чем это сварщик хуже теоретического физика?! С тем, значит, полчаса политесь разводиться, а этому – шиш?! И говорит невропатологу сварщик:

– Профессор, я стесняюсь спросить. Но вы так прекрасно всё рассказываете и показываете, что на меня посмотрите, пожалуйста, и расскажите мне, будьте любезны, чего у меня вдруг ваши обыкновенные доктора просмотрели. А я вам, если что, тоже помогу, чем смогу. У меня и свой сварочный аппарат есть. Со стройки упёр – всё честь по чести.

А профессору нашему и не жалко. Напротив, только в радость – ещё одна смачная мизансцена в копилку. Подходит к сварщику. Окидывает его эдаким мифистофельским взглядом. Бегло, но о-о-очень пристально. Бровками шевелит трагически. Ручкой картинно помахивает.

Сварщик ему:

– Может, раздеться?

Профессор строго:

– Не надо! И так ясно!

И, обращаясь к свите:

– Уйня! Тут нечего и говорить.
И быстро выходит.

Все за ним и поскакали.

Через полчаса санитарка забегает в конференц-зал и, невзирая на происходящее обсуждение результатов обхода, обращается прямо к профессору:

– Сварщик плачет. Домой звонит. Жене говорит, чтоб заначку с книжки снимала, гроб заказывала приличный, с музыкой, и белые тапочки готовила. Потому что сам профессор сказал, что у него, несчастного, такая уйня, что нечего и говорить и так ясно, что ему, сварщику, всё. Не жилец!

Тут профессору пришло всё. От хохота. Потому что у сварщика действительно уйня была. Обычная невралгия лицевого нерва. Видна невооружённым взглядом. Нечего и говорить.

Я к чему эту историю рассказала. Не всё то всё, что кажется. Может статься – обычная уйня.

Жаркое лето 1988-го

Это случилось жарким летом 1988 года...

Замечательная фраза. Пойду застрелюсь.

Никуда не уходите! Всё же не каждый день писатели решают свести счёты с жизнью, тем более – публично, прямо на страницах книги. К тому же покончить с собой – это верный способ войти в историю литературы. Маяковский, Хемингуэй и Соломатина. «Гомер, Мильтон и Паниковский».

Пока я вспоминала код мужниного сейфа, где он хранит свои охотничьи ружья, мне на голову свалились «Записные книжки» Ильи Ильфа. Не убили – они не тяжёлые. Зато раскрылись на нужной странице:

«Давайте начнём просто и старомодно – «В уездном городе N». В конце концов, неважно, как начать, лишь бы начать».

Теперь историю об охоте на двенадцать стульев знают все. Я решила, если уж и самому Ильфу можно, то Соломатиной и вовсе нечего мудрствовать лукаво.

Итак.

Это произошло жарким летом 1988 года в городе Одессе.

Мне было восемнадцать, я окончила второй курс института и устроилась работать медицинской сестрой в санаторий-профилакторий железнодорожников.

Попала я туда совсем не случайно – после первого курса проходила санитарскую практику на базе Одесской железнодорожной больницы в отделении травматологии, да так и осталась работать санитаркой. Но уже не в отделении, а в оперблоке. Нет, меня не выгнали из института. Просто я была весьма энергична, чрезмерно любознательна, а лишних денег, как известно, не бывает. Я получала пятьдесят пять рублей повышенной стипендии, и девяносто за доблестный труд лишь прибавили мне ощущения собственной значимости и развязали руки в отношении приобретения колгот и помад, столь необходимых любому юному существу женского пола. Мой папа, инженер, получал примерно столько же – те же плюс-минус сто сорок, потому просить у мамы, обеспечивающей семью всем необходимым, включая пропитание, телевизоры, зимние сапоги и билеты на концерты заезжих знаменитостей, ещё и на тушь для ресниц – у меня язык не поворачивался.

Собственные ежемесячные сто сорок пять рэ так грели мне душу, что я и летом не собиралась покидать свой пост в операционном блоке, хотя, поверьте, мыть полы, поверхности операционного стола и инструментальных столиков, а также проводить предстерилизационную очистку инструментов (читай – драить ёршиком в дезрастворах) – и так мало приятного. А уж в жару! Так что выход во внешние миры с набитым биксами мешком на плече и транспортировка на себе этого добра в ЦСО через весь двор казались приятной прогулкой по свежему – относительно операционной – воздуху. Хотя одесский июльский зной мало у кого вызовет ассоциации со свежестью.

И тут вдруг, в канун летней сессии, вызывает меня к себе заведующий отделением и говорит буквально следующее:

– А не хочешь ли отдохнуть от трудов праведных в санатории?

«Ну, – думаю, – всё, капец, приехали. Поезд дальше не идёт. Заведующему самому, видно, надо бы отдохнуть. Причём не в санатории, а в тихом уютном отделении для тихих уютных душевнобольных. Раз он восемнадцатилетней кобыле предлагает отдых в санатории.

По путёвке, что ли? Я же номинально тоже могу пользоваться железнодорожными льготами, раз моя трудовая возлежит в данном подведомственном отделе кадров!»

– Э-э-э... – мнусь я, глядя в его искренние заботливые очи «доброго дядюшки». – Да у нас тут есть кому отдыхать в санаториях, и постарше меня и подостойнее. А я так в отпуск и вовсе не хочу, буду работать всё лето, а потом всю осень, а затем – всю зиму. И... далее по расписанию.

Тут уже заведующий на меня как-то странно посмотрел. Как будто именно мне надо отдохнуть в тихом и уютном отделении для душевнобольных, а не ему. Внезапно взгляд его прояснился – то есть стал обычным: строгим и даже колючим. Он хлопнул себя по лбу, после чего изрёк:

– Балда! Не в смысле отдохнуть. А, разумеется, поработать летом в санатории. Что для тебя после работы в оперблоке отдых, само собой. Это же санаторий. И даже скорее профилакторий. Там нет операционных, откуда надо выносить ампутированные конечности. Там есть что? Бассейн, сауна. Электросон, в конце концов, и прочая подобная приятная расслабляющая ерунда. Кнопку нажала – и знай себе бамбук кури.

– Кнопки на электросне нажимают медсёстры, Валерий Владимирович! – строго сказала я ему, не окончательно разуверившись в том, что он не тронулся. – А я – санитарка. И потом – у нас в отделении есть куда более взрослые медсёстры, мечтающие отдохнуть от тяжелой работы в отделении. Вот их и отправьте кнопки на электросне нажимать.

– Ты понимаешь, Тань, – подозрительно-прониновенно затянул заведующий, – там надо на две ставки и на весь сезон. А у нас почти все семейные, с детьми... – и печально вздохнул.

С детства не могу видеть, как большие и сильные мужчины вздыхают!

– Ладно, – говорю ему психотерапевтическим тоном, – положим, я согласна. Отчего же не согласиться? Профилакторий. Бассейн. Сауна. Лето. Море. Детей у меня нет. Я их, признаться честно, терпеть не могу, детей этих. Век бы глаза не смотрели на них – пищащих, визжащих, орущих, брыкающихся, слюнявых и сопливых, так что с этим никаких проблем. Но, во-первых, я закончила только второй курс, а в медицинском училище не училась. А в качестве среднего медицинского персонала разрешают работать при таком раскладе только после третьего курса.

– Да мы с главврачом всё решим! Позвоним в деканат и все бумаги утрясём! – радостно заверил заведующий. – Это всё такая ерунда. Неужто ты недостаточно грамотна для того, чтобы хлорку разводить и кнопку на каком-нибудь физиотерапевтическом агрегате нажимать?! А больше там от тебя ничего и не требуется.

– Ну, а во-вторых, две ставки. Это запрещено трудовым законодательством и...

– Распишем на других, а все деньги – тебе. Главный врач санатория совершенно обворожительный дядька, уверяю тебя. И вообще, ты можешь не только работать там, но и жить всё лето. Твоя вотчина будет находиться в современном новом корпусе. Море близко, не то что тебе из твоего центра города. И никаких рук, ног и отмывания окровавленных дрелей. Идёт?!

– Идёт! – сказала я. И отправилась в отдел кадров переоформляться.

Затем домой – собрать манатки. Сообщить родителям, что их дочь – герой труда и они имеют возможность заслуженного отдыха от неё. И – в санаторий-профилакторий на тихой улице Ёлочная, что затеряна в дебрях прекрасного Большого Фонтана. Обустраиваться.

Ничто не насторожило юную идиотку. Ни бесплатный сыр, ни комфорт мышеловки. Ни одного действительно толкового вопроса не задала она ни заведующему отделением, ни начмеду по хирургии, подмахнувшему заявление о переводе с должности на должность.

Санаторий был прекрасен!

Черешневые и абрикосовые сады в антураже недалёкой ахматовской скамейки над самым синим в мире Чёрным морем моим. И кафе-стекляшка из детства – вот она, над обрывом. Детство-детство, ты куда ушло, где свой какой-то там уголок нашло?.. Да вот оно! Стекляшка на Четырнадцатой! Не путать со стекляшкой на Тринадцатой, где в те далёкие годы дядьки пиво пили. На Четырнадцатой – ели пломбир. Самый пломбир в мире!

Главврач профилактория обворожителен! Какую-то санитарку самолично кофеем напоил! Собственноручно сваренным в страшном шипящем и урчащем турецком кофейном агрегате. Самолично показал корпуса – и лечебные, и административные, и свежоотгроханный физиотерапевтический с – таки да! – бассейном, сауной, кабинетами врачей на втором этаже. И кабинетом медсестры на первом. За лестницей. Рядом с туалетом. Там тебе и жить. Потому что ты тут теперь медсестра.

– А чего так пустынно-то, Николай Васильевич? – аккуратно поинтересовалась я у главного врача всего этого санаторно-курортного великолепия. – Где благостные выздоравливающие, реабилитирующиеся и просто у моря отдыхающие?

Главврач посмотрел на меня с сочувствием и ответил вопросом на вопрос, как это и положено в Одессе:

– А вы, Танечка, не знаете?

– Не знаю! – всё ещё бодро выпалила я.

– Завтра заезд, деточка, – сказал мне главврач и протяжно вздохнул. Как кит. И даже смахнул набежавшую слезу.

– Вы чего, Николай Васильевич? – Я встревожилась. Характеристики, коими снабдили меня сотрудники (в основном – сотрудницы) родимой железнодорожной больницы, грусти-тоски в себя не включали. Напротив: «хапуга!», «цинник!», «бабник!», «обжора!», «жизнерадостный кобель!», «любит помоложе!», «Танька, берегись!». Про то, что он способен вздыхать и плакать, ничего не было. – Почему это вдруг завтра заезд? Какой такой заезд? Мы же не пионерлагерь, а самый что ни на есть взрослый такой себе санаторий. И даже профилакторий.

– В том-то и дело, Танечка, – в порыве отчаяния Николай Васильевич прихватил меня своей мощной ручищей за тонкий локоток, – что мы теперь, до самого конца лета, пионерлагерь! Санаторного типа. Завтра у нас с вами сюда состоится заезд детей. Да не каких-нибудь, а из зоны Чернобыльской АЭС.

– Де... де...

– А идёте, Танечка, выпьем по рюмочке коньяка! – предложил Николай Васильевич. Было в его голосе что-то такое... Эйфория приговорённого такая, знаете ли.

Я согласилась. А что бы вы сделали на моём месте?

В том нежном возрасте я, заслышав слово «дети», испытывала первобытный экзистенциальный ужас. Как мирный пещерный человек без дубины при встрече с голодным разъярённым саблезубым тигром. К слову, не скажу, что с тех пор что-то для меня сильно изменилось. Услышав, что в компании предполагаются дети, я всегда стараюсь под благовидным предлогом отказаться от похода в кино-ресторан, от гостей, от поездки, от чего угодно. Потому что

каждый отдельный ребёнок сам по себе ужасен: он хочет играть, пить, какать, писать, пускать слюни и пузыри, трогать руками тебя и твои любимые джинсы. А уж дети, собранные вместе в количестве больше двух, – ужасны! Ужаснее любого голодного саблезубого тигра. И при этом я трепетно люблю детей: здоровых, крепко спящих новорождённых и тех, что на обложках журналов. Остальных тоже люблю, когда они далеко-далеко от меня. И это сейчас – когда я уже почти мудра, несомненно многоопытна и моей собственной дочери уже шестнадцать лет.

А тогда...

Тогда мне самой едва минуло восемнадцать... Буквально-то пару дней назад.

А завтра тут будут дети. Много детей. Много-много детей. Несколько отрядов. Самых разнообразных возрастов: от семилеток (кошмар!) до самых что ни на есть гормонально-кризовых: четырнадцать-шестнадцать (кошмар-кошмар!). А также: восьми-, девяти-, десяти-, одиннадцати-, двенадцати-, тринадцатилеток (кошмар-кошмар-кошмар-кошмар-кошмар-кошмар!!!).

– Вы не волнуйтесь, Танечка! – успокаивал не столько меня, сколько себя главный врач санатория-профилактория. – Они, эти дети, будут с воспитателями. Ну, с этими... студентами педагогических институтов. С вожатыми, вот. Хорошие дети. Из Чернобыля. Да. Большей частью сироты или из неблагополучных семей... – завывал Николай Васильевич, прихлёбывая коньяк прямо из чашки, забыв налить туда кофе. – И к тому же они здоровые. Не стал бы никто в санаторий, к морю, под солнце слишком уж больных детей присылать, как вы думаете?

– Наверняка! – успокоила я главврача. Деваться было некуда.

– Старшая сестра санатория в отпуске, – сообщил мне Николай Васильевич делано-равнодушным тоном. – Врачи тоже все в отпуске. Даже стоматолог. Так что есть вы, Танечка. И я. И дети. Много-много диких детей с вожатыми-дрессировщиками. Вы не боитесь обезьян, Танечка?

– Нет, ну что вы, Николай Васильевич. Обезьян я совершенно не боюсь. Я, знаете ли, прямо сейчас даже саблезубых тигров не боюсь. Подумаешь – хэ, саблезубые тигры! Милые кисы по сравнению с ордой диких детей от семи до шестнадцати. Вот их я очень боюсь. А когда я боюсь – я делаю глупости. Я увольняюсь, Николай Васильевич. Не только из санатория, а вообще из железнодорожной больницы. Есть куда более милые и приятные, и – главное – безопасные рабочие места в нашем городе. Например, санитаркой в отделении буйных на Слободке.

Тут главврач упал на колени и, воздев руки к потолку, стал молить меня остаться. Обещал немислимые блага: жениться и всю заработную плату старшей медсестры санатория в добавку к тем двум ставкам, что мне уже кинули.

Я напомнила Николаю Васильевичу, что жениться он на мне не может, потому что давно и прочно женат, и даже его сын учится в мединституте парой курсов старше меня, а вот от денег... Я человек слабой воли – долго от денег отказываться не могу. Прикинув в уме, что к концу лета я стану богата, как Крез, и смогу купить себе сапоги в комиссионке на Гарибальди, я дрогнула. И не дрогнувшей рукой подняла Николая Васильевича за воротник, уложила его на кушетку в его собственной приёмной, а сама отправилась на ночное море. Поплывать, понырять, привести в порядок мысли и чувства... В конце концов, утро вечера мудренее. И не боги горшки обжигают. Дети – тоже люди. Главное – знать, с какой стороны к их клетке подходить, и внутрь без газового баллончика не соваться.

Неизбежное утро наступило. Прямо на неизбежность. И неизбежность обречённо ойкнула. И даже айкнула.

Сначала мне было не страшно. Потому что страшно мне уже было ночью. Одна-единёшенька, во мраке, под сенью громадного пустынного корпуса. Мой кабинет на первом этаже. Да, окна зарешечены. Да, я заперлась на ключ. Да, я на прекрасном-прекрасном Большом Фонтане... Жужжат какие-то ночные жучки. Летняя ночь спокойна и томна... Я уже задрёмаю... Дремлю...

Трах-бах-тарарах!!! Дум-дум-дум! Умц-умц-умц!

Что это?

Вскакиваю. И уже потом просыпаюсь.

А это всё сразу.

Трах-бах-тарарах – это стучат в двери. Причём в мои, а не в те, главные. Дум-дум-дум – это музыка несётся откуда-то слева от того самого туалета, а умц-умц-умц – это тарабаниющий ещё и напевает себе под нос. Это ему кажется, что напевает. А мне – что за дверью медведь.

– Есть кто живой? – орёт медведь человеческим мужским голосом.

– Не совсем, – шепчу я с той стороны.

– В смысле? – медведь тоже отчего-то переходит на шёпот и перестаёт колотить и напевать. Но музыка слева тише не становится.

– В смысле, что я тут умираю от страха. Вы кто? Здание заперто. Вы вор?

– Я Шурик, – говорят мне с той стороны. – Здание-то заперто, да только тут такое здание... Может, откроете дверь? Разговаривать удобнее будет.

– Не открою. Я вас боюсь! – твёрдо заявляю я, с большим сомнением глядя на хлипкую филёночную дверку своей медсестринской обители.

– Я не страшный. Я красивый, – чуть с обидой отвечает мне потусторонний Шурик. – Я просто тут в зале качаюсь. Я и пацаны. Мы все нормальные. Потом сауна-бассейн, всё как положено. А вас я видел, ещё когда только пришёл. Вы с этим потёртым ловеласом территорию осматривали. Вы медсестра, да?

– Я студентка медицинского института! – обиделась я на него и открыла дверь.

– И я – студент... Нет ума – иди в педин, нет стыда – иди в медин. Если нет ни тех, ни тех, – поступайте в политех! На факультете автоматики и вычислительной техники я учусь, в политехническом, – сказал Шурик. А следом добавил: – Я и так уже понял, что у вас хорошая фигура. Но если вам жарко, можете оставаться так. Мне, что правда, сложно будет тогда поддерживать разговор, поскольку вся кровь от головного мозга отправится туда, куда ей положено отправляться при виде вот... Ну вот, уже! – Он так по-детски расстроился, а я обнаружила, что торчу у раскрытой двери исключительно и только в трусах.

– Эм-м-м... Извините, проходите! – бодро пролепетала я и поскакала на «домашнюю» сторону своего кабинета, чтобы надеть белый халат.

– Вот так значительно лучше! – успокоенно резюмировал Шурик, когда я вернулась спустя секунд десять. За которые он успел уже усесться, да не куда-нибудь на кушетку или там в обшарпанное кресло под телевизором, а прямо-таки за мой медсестринский стол. – Ну, то есть я не хотел сказать, что прежде было хуже – напротив. Но когда вы в халате, я могу с вами разговаривать, не думая... Нет, то есть совсем-совсем об этом не думать я не могу, вы уж извините. Но когда вы одеты, я могу сосредоточиться на светской беседе, целью которой является ваше охмурение мною. Вот.

Мой ночной внезапный гость так беззащитно, по-ребячески развёл руками, что сердиться на него не было никакой возможности. Я рассмеялась.

– Только не говорите мне, что вы уже влюблены или, не дай бог, любите кого-нибудь. В вашем возрасте ещё невозможно любить. Всё, что вы принимаете за любовь, не более чем влюблённость. Детская влюблённость. Вы ещё даже страсти не можете испытывать, потому что слишком молоды... – начал тараторить этот забавный Шурик, студент политеха. На студента вовсе не похожий. Тем более – на студента такого мудрёного факультета. Старше меня,

навскидку, года на два-три – не больше. Он действительно был очень хорош собой. На вкус и цвет – товарищей нет, хотя объективные каноны красоты, безусловно, имеют место быть. И он им соответствовал. У него были большие миндалевидные глаза в основном небесно-голубого цвета, но такие же изменчивые, как мои. Такие же изменчивые, как море. Брови вразлёт, чётко вырезанные губы, слегка обветренные, как у любого мальчишки, живущего у солёной воды. Широкие скулы и правильной формы уши. Густые тёмно-русые волосы, экстремально коротко стриженные, с небольшим вихрастым чубчиком, как у юного бычка. Гладкая загорелая кожа. И отличная фигура – именно такая, как мне нравилась, нравится и, наверное, будет нравиться до самой моей глубокой старости, когда я, сидя на скамеечке, буду созерцать проходящих мимо мускулистых парней и получать исключительно эстетическое удовольствие. Единственным его недостатком – внешним – была чрезмерная, пожалуй, массивность. Перестань он заниматься спортом, начни он лопать – и его разнесёт поперёк себя шире. Но тогда, слегка за полночь жарким летом 1988 года, он был прекрасен. И не потому, что красив. Даже те, кому нравятся тощенькие пигмеи, нашли бы его совершенно обворожительным. А потому, что от едва знакомого мне Шурика исходила мужская мощь – настоящая мужская мощь: спокойствие и безопасность. Не угроза. Было совершенно ясно, что этот мужчина – из тех самых, за которым на любую войну пойдёт любая собака, любая женщина будет есть у него с рук и жить с ним в любом сарае, в любой палатке. И так далее. Обычно это называют обаянием. Все – особенно все женщины – знают, что такое мужское обаяние. Но мало кто может словесно сформулировать определение. Вот и я не могу. А тогда – и подавно не могла. Видели фотографию Горького с Шаляпиным? Горький сидит, слегка очумевший, и ему горько, как всегда. А Шаляпин к нему прислонился головой из положения «стоя». Нежно-нежно, грустно-грустно, обаятельно-обаятельно. Вот Шурик обладал такой «шаляпинкой». И той ночью, и всю историю наших последующих отношений я – горький, чуть суицидальный, всегда надрывный хулиган, пытающийся достучаться рогом до идеалов гуманизма, а Шурик – нежный-нежный, грустный-грустный, обаятельный-обаятельный. И сильный-сильный. Настолько сильный, что в идеалах гуманизма не нуждается. Истину не отстаивает – творит...

Конечно, той странной ночью ничего такого я не формулировала. Я сидела на скрипящем старом стуле у стола, а Шурик – напротив меня, за столом. Я была в белом халате поверх голого тела. А он – в боксёрке поверх оголённого торса. Мне было восемнадцать, ему – двадцать один, и мы болтали-болтали-болтали о всякой ерунде всю ночь, почти до рассвета. Не целовались, не обнимались. Просто говорили. И нам было беспричинно хорошо, как бывает лишь в молодости или лишь в счастье, возраста не имущем.

Конечно же, он спросил, как меня зовут.

А музыка слева скоро умолкла, и оттуда донёсся требовательный женский крик:

– Шурик, ну где ты?!!

– Анжела, иди домой! Лёнчик, проводи! – рявкнул Шурик зычным басом в пространство. – Сестра, – пояснил он. – Тоже склонна к полноте, и тоже вечно худеет-качается. А Лёнчик – инструктор. И арендатор, собственно, этого помещения у санатория под качалку. Вот. Так что дверь этого корпуса, конечно, на замке. С главного входа. А к нам – по лесенке с торца здания. А та, что около туалета, – она вообще никогда не запирается. Сквозная. Там у нас разные мужики бывают, сауны-бабы, все дела. Так что я, так сказать, с визитом. Представиться. И чтобы ты не боялась. А я ни с кем не встречаюсь. Вот. – Он улыбнулся.

Тут по всем правилам ностальгических воспоминаний следует написать: «И я пропала...»

Но я не пропала.

Потому что была влюблена в кого-то там... Не помню... И потому что утром тут будут дети. А детей я боялась куда больше юности, любви, глупости, мужиков из качалки, баб из сауны и потёртого ловеласа Николая Васильевича. Детей я тогда боялась куда больше счастья. Потому что первым не доверяла, а во второе – не верила.

Поэтому мы всю ночь и болтали, в основном о моих страхах и моей недоверчивости.

Неизбежное утро наступило. Прямо на неизбежность. И неизбежность обречённо ойкнула. И даже айкнула.

После этой курсивной ремарки, скопированной из текста до лирического отступления, так и просится дочурка Марка Захарова из «Формулы любви» с истошными воплями:

– Едут!!! Едут!!!

Просится. По всем законам жанра. Но её не будет. Потому что я люблю нарушать законы жанра. Тем более что это не противоречит десяти заповедям и Уголовно-процессуальному кодексу.

Выпроводив Шурика под утро, я выглянула на улицу. Территория нашего санатория-профилактория была девственно свежа. Никакие дети-монстры не бороздили её просторы, держа в скрюченных лапках останки ответственных за них взрослых. Южное утро. Шесть ноль-ноль. Я оббежала свою новую рабочую обитель. В административном корпусе никого. Пусто также в лечебных и спальнях корпусах. Только в столовой – вернее, на кухне – бурлила жизнь. Толстая тётка в белом колпаке и несколько ещё более юных, чем я, подопечных.

– Ты кто? – спросила меня тётка.

– Татьяна, – представилась я.

– Отлично. А я – Валентина Никитишна. Чего опаздываешь, Танечка? Нехорошо! Завтрак в восемь утра. Иди чисть картошку и протирай столы.

– Я медсестра, – уточнила я.

– Тьфу ты! Ну, прости. А я подумала, что ты студентка кулинарного училища. Вон их сколько у меня на практике, – махнула она мощной ручищей на стайку будущих валентин-никитишн. – Новая диетсестра? – спросила она.

– Вроде нет, – неуверенно ответила я.

– Вроде – это вроде Володи. И на манер Кузьмы. Фамилия-то твоя как?

– Полякова.

– Ну, тогда смотри график на июль, Полякова, – она тыкнула на какую-то бумаженцию, висящую на стене.

О боги! Там кругом была моя фамилия. Похоже, диетическая тоже ушла в отпуск за свой счёт. А то и вообще уволилась.

– А что входит в обязанности диетсестры? – испуганно спросила я у Валентины Никитишны, по дороге роясь в курсе пропедевтики внутренних болезней, сданном мною на отлично, и ничего там не обнаруживая.

– Да ничего особенного. Прийти перед подачей. Посмотреть. Попробовать.

– Ага. Оценить органолептические свойства и снять пробу, – пробормотала я, вспомнив какой-то параграф из не помню откуда, – и если я не умру, или не обо... ну, там, расстройство желудка, сальмонеллёз... Сегодня в меню есть яйца?! – истошно завопила я, вспомнив, что именно яйца – самые страшные рассадники сальмонеллёза. А консервы – ботулизма. А мясо

– полно коварных гельминтов и... Значит, на мне лежит ещё и эта огромная ответственность – отвечать за качество питания этих ужасных, и без того полных всяческих опасностей, детей.

– Яишенку хочешь? – сердобольно осведомилась уютная шеф-повар Валентина Никитишна.

«Какая, к бесу, яишенка?! Меня прямо тут того и гляди стошнит от вселенского ужаса. Шутка ли? Отвечать за жизни посторонних мне малолетних ещё и здесь!»

– Ты чего такая бледная? – забеспокоилась Валентина, не слыша моих дум. – Не беременная часом? Я так только рада, что тут в этом году детишки. А то лета не было, чтобы какая-нибудь практикантка от не в меру ретивого курортника не залетела! – вздохнула она.

– Нет... Не беременная... И яиц не хочу. Ни в каком виде. Я вообще есть не хочу. – Я с отвращением смотрела, как одна из училищных девиц отрезала себе краюху хлеба величиной с Мадагаскар, отсекала от слезящегося бруска пласт сливочного масла толщиной в протектор альпинистского ботинка моего отца и, положив второе на первое, завьюжила эту чудовищную конструкцию сахаром-песком. И с наслаждением откусила. Я была близка к обмороку. В сознании мне позволяла оставаться мысль, что если эта девица не скопытится к завтраку, то мне не надо будет пробовать хотя бы хлеб, масло и сахар.

– Может, она яишенку хочет? – прошептала я Валентине Никитишне, потыкав пальчиком в практикантку.

– Вот бегемот! Как только не треснет! Всё подряд метёт, как не в себя, – восхитилась шеф-повар, тоже далёкая от модельных параметров.

– Давайте она всё пробовать и будет, а? – взмолилась я.

– Да она и так всё... пробует. Но не положено. Подпись твоя нужна. Тебе и пробу снимать. Приходи в семь сорок пять. Всё будет готово!

На трясущихся ногах я вернулась к себе.

«Если завтрак в восемь, то, значит, где-то ближе к еде их и подвезут! – подумала я. – То есть ещё полтора часа жизни у меня есть...»

И пошла разводить хлорку.

Если вы никогда не разводили порошковую хлорку, то вы ничего не знаете о жизни!

Я до того чудесного ясного летнего черноморского утра тоже ничего не знала о жизни, хотя и в операционной травматологии санитаркой работала, и мимо прибрежных общественных туалетов, откуда несло лизолом, прогуливалась. Ничего не знала, потому что никогда прежде не разводила порошковую хлорку самостоятельно.

Даже если вы примете ванну с концентрированным доместосом, вы всё равно не узнаете, что такое порошковая хлорка. И тем более как себя чувствует разводящий порошковую хлорку.

Пока носоглотку, бронхи и лёгкие забивало ядовитыми парами, я вспоминала историю Первой мировой войны, во время которой впервые был применён иприт.

Пока у меня вытекали глаза...

Пока у меня облезала кожа...

Лучше вам этого не знать!

Единственный совет: если вы разводите порошковую хлорку, не верьте, что марлевая повязка или респиратор, а также очки и гидрокостюм спасут вас от отравляющего действия порошковой хлорки и химической реакции соединения её с H₂O. Только противогаз и ОЗК – общевойсковой защитный костюм.

Но я справлюсь.

Потому что после посещения столовой-кухни я приняла решение не только не бояться детей, но и справиться с ними. Потому что русские не сдаются. Даже перед собственноручным разведением порошковой хлорки!

Зачем я её разводила?

Есть такое страшное словосочетание: «должностная инструкция». И вот по этой самой должностной инструкции в обязанности дежурной медсестры санаторно-курортного учреждения входило разведение порошковой хлорки. Даже если она сто лет не нужна, разводить её нужно каждые три дня. И клеить на бак с полученным раствором бумажку о том, что 08.07.1988 г. медсестра Т. Полякова развела это всё неизвестно для чего. Обычно в санаториях неизвестно – для чего. Но медсестра Полякова не только узнала, для чего, но и хлебнула этого «чего» по самое это самое... Но я забегаю вперёд, простите.

Отдышавшись, отмывшись, отчесавшись и разлепив то, что у меня осталось от глаз, я снова вышла на территорию...

И сразу закрыла свои покрасневшие вампирские очи. Потому что яркое солнце. А под ярким солнцем из ярких автобусов выбегали бледные дети и орали, как умалишённые. Громче детей орали только сопровождавшие их вожатые. Белый, как в предынфарктном состоянии, Николай Васильевич что-то тихо шептал строгой тётё. А строгая тётя хмурила брови и зловеще молчала.

– Доброе утро! – брякнула я всем и, не дожидаясь ответных приветствий, убежала в столовую. Кажется, снимать пробы на кухне было безопаснее всего остального текущего событийного ряда.

Там я выпила чаю, глядя, как кулинарные практикантки лихо расставляют тарелки с жидкой манной кашей, из которой торчат оплавленные куски сливочного масла. Разносят хлеб и варёные яйца. Блинчики с творогом и с вареньем, какао, чай и даже по крохотной мисочке черешни. Во всех яствах, исчезающих в глотках детишек, требующих и требующих добавки, мне чудились страшные токсины и микроорганизмы, могущие довести малолетних до цвинтера, а диетическую сестру в виде меня – до цугундера. Валентина Никитишна, погладив меня по голове, сказала, что всё будет хорошо:

– Только зря они им черешню выдали, её тут и так завались по всей территории. Не собрали вовремя. А эти-то – не наши. Их небось от черешни с зелёными абрикосами не воротит ещё... Ох, следили бы за ними получше...

И я покрылась липким холодным потом. Поняв, чего добрая Валентина Никитишна так остерегается.

– Ладно, пора начинать готовить обед. Не забудь прийти за пятнадцать минут, снять пробу. Тебе домой мясом или борщом? – спросила она, не замечая моего страха.

– Что? – я не поняла даже, о чём она.

– Кусок мяса домой отрезать или уже готового борща в банку налить? Старшая медсестра всегда продуктом брала. А Василичу в бидон наливаем уже готовенького. Тут кто как любит. Ты новенькая, вот и спрашиваю...

– Я не уйду домой. Здесь живу. Я так... Пробу сниму... – пяясь, пробормотала я.

«Может, обойдётся?» – думала я, пока детишки, пожрав всё, что можно и нельзя, выходили из-за столов, икая.

«Может, они всё-таки не заметят огромной свисающей перезрелой черешни прямо у них над головами?» – успокаивала я себя, пока орда с гиканьем строилась в колонны, чтобы идти на море, успевая уже сейчас цапнуть своими грязными ручонками ягодку-другую-третью в горсть. И заглотить её, судя по всему, прямо с косточкой. Вожатые бились с детьми за порядок

не на жизнь, а на смерть, но жизнь, как всем известно, всегда победит. Найдёт выход сотворить неизбежное. Особенно когда неизбежное болтается в неограниченных количествах прямо над головой и нагло напрашивается.

«Может, у них термоядерные желудки?!» – ликовала я ближе к ужину, опробовав и борщ, и котлеты, и запеканку, и солянку, и ещё кучу блюд. К слову, что бы там ни говорили о советском общепите – никогда позже, почти нигде, в самых изысканных дорогуших ресторациях очень даже иностранных городов, я не едала ничего более вкусного, чем стряпня Валентины Никитишны. Разве что ещё моя одесская бабушка так вкусно готовила. Из самых обыкновенных продуктов, безо всякой экзотики.

И вот когда уже отгремели барабаны, отдудел вечерний горн, а я, переделав кучу дел, положенных мне должностными инструкциями старшей, дежурной, физиотерапевтической и диетической медицинских сестёр санатория, еле волочила ноги в кабинет Николая Васильевича, возжаждавшего меня на кой-то ляд лицезреть, вожатая привела ко мне первого пациента. Вполне безболезненно обосравшегося во сне.

Через час их была уже толпа.

Через два – вся смена.

У кого-то была диарея. Понос, проще говоря. А у кого-то – наоборот – запор. Животы крутило у всех, включая вожатых из Киева, тоже жадных до одесской черешни.

– Но вы-то, вы-то! Взрослые люди!!! – орала я на таких же юниц и юнцов, как я сама. – Вы-то зачем столько съели?! Вы что, не знали, чем вам это грозит?!!

Детишкам и их неразумным опекунам был выдан месячный запас активированного угля и фуразолидона. Столько клизм я не ставила ещё никогда. Никогда больше (ни раньше, ни позже) я не видела такого количества непереваренной черешни в «соусе» из... Да!.. Из него. Я пять лет не могла на неё смотреть и ещё десять после первых пяти – есть. Хотя бог свидетель – до лета 1988 года я так любила черешню!

Отпахав до утра по локоть в... Да!.. В нём. Перемыв все клизмы и тазы в той самой хлорке, которой ещё и не хватило (повторить подвиг с разведением мне было уже куда проще, потому что страшно только первый раз, а дорогу осилит идущий, а не ужасающийся), я побежала на кухню «снять пробу» с завтрака.

Валентина Никитишна сочувственно покивала головой, выслушав мой рассказ о полуночных бдениях, сварила мне своего собственного вкуснейшего кофе, который её сестра таскала с кондитерской фабрики, и строго изрекла:

– Тебе надо поспать, детка!

И она была права. Я заходила на третьи сутки без сна. Надо было поспать. Я выпила ещё одну чашку крепкого кофе и, еле добравшись до своего кабинета, завалилась спать прямо на кушетку, где ночью перебивало доброе стадо пионеров. И я каждый раз протирала её хлоркой. По должностной инструкции. Потому и спокойно завалилась. Без подушки, без покрывала и не закрыв дверь.

Разбудили меня, как того Штирлица. Ровно через двадцать минут.

Вчерашнюю ночь поноса сменил не менее чудесный день тепловых ударов. Детишки блевали морской водой, смешанной с запеканками Валентины Никитишны. Температурили. Их знобило. Детишки краснели на глазах. Детишки плакали. Детишки пукали. Детишки звали маму. Даже те, у кого её отродясь не было.

И я, восемнадцатилетняя дурында, вдруг перестала ненавидеть и бояться. Я внезапно поняла, что люблю их. Вредных, кричащих, противных, непослушных, обосранных, блюющих, пережарившихся сдуру на жарком предзентном солнце, перекупавшихся в не самом тёплом

в мире Чёрном море моём. Люблю не потому, что им плохо. Люблю не потому, что жалею. А потому, что они живые. А я люблю любить живое.

Через неделю всё наладилось. Адаптация прошла. И моя. И детей. И к морю. И к солнцу. И ко мне.

А черешню и зелёные абрикосы они к тому времени уже по всей округе подъели. И я могла вздохнуть спокойно. Если бы не одно «но»: дети висли на мне, как собаки. (Виснувшие всегда и везде на мне собаки, включая обученных на поражение овчарок и алабаев, всегда мне нравились больше, честно говоря.) Кажется, они решили меня удочерить, эти чернобыльские «социально неблагополучные» дети. Им нравилось, что я не сюсюкаю, но и не ору. Что со мной можно поговорить «за жизнь», и я буду смеяться, если смешно, или говорить: «глупость какая!» – если глупо.

Правда, Шурика они всё равно любили больше. Потому что он мог «на закорках» покачать. А мог и по шее дать. Не сильно, для остротки. За то, что «шутки шутят» в торце, где не всегда нормальные дядьки с не всегда нормальными тётками парятся. Начало развала передела стремительно топало семимильными шагами.

Колоссальный акт доверия состоялся, когда мальчишка двенадцати лет показал то, что не показывал ни вожатому, ни мне. Шурику. Совершенно постороннему человеку. Не студенту-вожатому. И не студентке-медсестре. Парню, ходившему в качалку. Показал и наказал пересказать увиденное.

– Сказал: «Потому что, понимаешь, неудобно мне такой тёлке хрен показывать. А что-то с этим делать надо!» – ржал Шурик. – Умный парнишка. На улице стоит. Ждёт твоего вердикта.

– Ну, пересказывай «тёлке», что там у мальчишки с хреном, – воткнула я руки в боки, сурово воззрившись на Шурика.

– Да чего там рассказывать. Я ему уже и так всё сказал.

– Что ты мог ему сказать, ты же в политехе учишься!

– Ну, я же всё-таки местами мальчик. Был. А сказал я ему, что на время хрен переименовываем в писю и начинаем лечить фимоз. Только он у него уже не открывается, – печально вздохнул Шурик.

– Вот только самодеятельности твоей ещё не хватало! – наорала я на добрейшего Шурика, избранного в доверенные лица.

Паренька прооперировали в Одесской железнодорожной больнице. При полном соучастии и одобрении Николая Васильевича.

Были у нас за две смены и парочка аппендицитов, и несколько наложений швов. Я виртуозно освоила «коленную» десмургию¹ и накладывание мазевых накладок на что угодно – ушибы, порезы, фурункулы. И даже вскрытие абсцессов и карбункулов. С промыванием, с антибиотикотерапией... Не так страшны дети, как наша боязнь их. Люди. Просто люди, с обычной людской анатомией, обыкновенной людской физиологией и необыкновенной для взрослых уже людей животной жадой ошибаться, проделывать работу над ошибками и ещё раз ошибаться... И ещё раз. И ещё раз.

Но это всё так. По мелочи...

Только однажды жарким летом 1988 года в нашем санатории-профилактории, временно перепрофилированном под пионерский лагерь, случилось настоящее ЧП. Мальчишки подра-

¹ Десмургия – искусство наложения повязок.

лись. Мальчишки ведь всегда дерутся. Не так, конечно, жестоко, как девчонки, но всякое случается. Они, собственно говоря, даже не дрались, эти мальчишки. Они «фехтовали». На палках. Шуточный бой превратился в серьёзную потасовку. Дети – они же всего лишь маленькие люди. И у них тоже частенько – куда чаще, чем хотелось бы, – случается классическое «слово за слово, хреном по столу»... А на конце одной из палок гвоздь был. Длинный ржавый крепкий гвоздь. Вот один из мальчишек своего «спарринг-партнёра» этой палкой по голове и приложил. Тот и упал как подкошенный. А через секунду встал.

- Ты как? – спросил испуганный своей неожиданной победой «враг».
- Да вроде ничего. Так, кровь немного, – потрогал себя пацан за волосы.
- Только ты вожатой не жалуйся!
- Что я, «крыса»? – возмутился раненый.

Русские не только не сдаются. Русские и своих никогда не сдают. Ну, или славяне. Не знаю я, кто этот мальчишка по национальности был. Он и сам не знал. Он детдомовский. Детдомовским не до национальностей. Быть бы живу.

В общем, до вечера так и ходил. И на пляж. И на обед. И на ужин. А вечером у него голова заболела. Его ко мне вожатая и привела. Загорелая такая красивая девочка. Тоже второй курс закончила. Киевского университета. Ей в Одессе море интересно было. И крепкие мужчины из качалки, что с торца здания главного корпуса. И к тому же как за мальчишками уследишь? Она только на полчаса отлучилась. Ну, на час. А он не сдаёт, откуда у него кровь на голове. Кровь – и ещё такое вот... Сами посмотрите...

Посмотрела.

А у мальчишки череп трепанирован. И оттуда крови, понятное дело, мало. Да и мозгового детрита немного... Но есть. Купался. Нырлял. Загорал. В сознании. Голова болит. Совсем немного.

Я «Скорую» немедленно вызвала. И на анамнез его раскрутила. Он и рассказал про драку. При вожатой ни за что бы не стал. Да её, считай, не было – она в обмороке валялась. Я ей трепанационное отверстие в парнишкином черепе продемонстрировала, поднеся лампу для наглядности, – она и рухнула кулём. Я намеренно, вы уж простите. Должна же была девчонка узнать, во что могут вылиться полчаса-час отлучки от вверенных тебе питомцев. На будущее, так сказать.

Хорошее такое трепанационное отверстие. Обломки. Все дела. Пока «Скорая» ехала – я ему волосы остригла вокруг и зелёной помазала. А что я ещё могла сделать? Треплюсь с ним о том, об этом. Он в сознании. Адекватен. Ничего не нарушено. Тут и «Скорая» подоспела. А в «Скорой» докторша молодая. Беременная. Рядом с вожатой и полегла. И что мне было делать? Тоже рядом ложиться? Или ещё одну «Скорую» вызывать? Время идёт... А если с ним сейчас что-то... Что я буду делать? Позвонила Николаю Васильевичу. Доложила, мол, так и так, покидаю пост. Сажусь в «Скорую» с мальчонкой и еду на Слободку, в детскую областную. Потому что тут, извините, трепанация черепа. Хорошая такая. Отверстие – сантиметра три на четыре в диаметре. И её, кажется, не зелёной лечат.

Николай Васильевич на том конце провода сам от ужаса зелёным свистком прикинулся и просипел фальцетом сдавленно:

– Езжай!

Ну, мы и поехали.

Родители киевской студентки на следующий же день в Одессе были. Пацану и лечение, и фрукты-овощи, и платиновую пластину – всё оплатили. Хорошие люди. Другие бы и того не сделали. Мальчик – сирота. Никто бы за него особо на их дочь в суды не подавал.

Жаркое было то лето 1988 года.

Жаркое, сложное и прекрасное. Лето, когда я впервые поняла, что судьба – не злодейка и, наверное, не зря я поступила в медицинский институт, потому что нет более прекрасной профессии, чем врач. Вернее, есть: детский врач. Но я бы никогда... Потому что я всё ещё не люблю детей. Я люблю живых людей. Если маленький человек живой – я его люблю. Если из него вываливается непереваренная черешня, из пореза течёт кровь, люблю. Если он говорит мне, что любит меня; ненавидит меня; хочет на мне жениться, несмотря на то, что ему тринадцать, а мне – восемнадцать, мне смешно. Но я люблю его за детскость, за искренность, за неистовство. Сейчас я уже знаю, что ему тридцать пять, а мне сорок, и мне не так смешно, как тогда. Но за тот мой смех, за ту яростную ненависть, с которой мне признавались в детской любви, я люблю... Люблю за живость.

А о мёртвых помню.

Всё, что я любила в живом Шурике, и всё, что я помню о нём, уже мёртвом, я расскажу в другой книге. В романе «Коммуна». И о нём, и об Одессе, которой в который раз уже нет. О детстве и о детях, о юности – и о взрослении, об Одесском медицинском институте – и не только о нём. О двориках-переходиках... Вернее – не про то и не об этом. Хотя, кто знает... Наверное, о тех, кто любим и любит. Бойтся и бесстрашен. Не может простить – и снова и снова прощает. Ну, то есть, опять о людях. О живых людях. И не расскажу, а напишу. И не правду, а художественную прозу. Посвящу Шурику. Полагаю, издатель не будет против такого посвящения. И даже размещения на первой полосе вёрстки фотографии этого замечательного человека, навсегда оставшегося молодым – там, где цветут абрикосы и очередные дети объедаются черешней. О нём, навсегда плывущем тёмной ночной водой нашего с ним Чёрного моря. О них, навсегда смеющихся. Навсегда сильных и слабых. Навсегда красивых и честных даже в выдумке. Навсегда оставшихся там, где они живы, где они дети, где они молоды. Они. И он. Там. В конце прошлого столетия. В прекрасном городе Одессе.

Шурика уже нет. Умер в 1997 году в реанимации одной из одесских больниц. Из-за того, что юный дежурнт, несвоевременно оказывая помощь, вдобавок перепутал последовательность (и дозы) введения коллоидных и кристаллоидных растворов... Из-за того, что во врачебную специальность (в вожатые, в мостостроители, в ветеринары, в..., в..., в...) попадают иногда те, кому там и близко не место, – равнодушные.

Если вы заплакали, то... – не стоит... Не стоит оплакивать мёртвых. Лучше прямо сейчас вытрите слёзы и поцелуйте своего ребёнка. Проверьте лоток своего кота. Или позвоните старому другу. Пока он жив. Это будет своевременное действие.

Теперь, когда поцеловали, проверили и позвонили, можете смело читать дальше эту книгу. Она – о живых и для живых. Как всё, что мы совершаем при жизни. Как жаркое лето 1988 года – моя радость, моя печаль и моё живое настоящее... Как всё, за что нас помнят, когда нас уже нет в этих двориках, переходиках, катакомбах, пляжах, садах и подвалах. Когда мы уж не задаём друг другу глупых вопросов. Например...

Кем быть?

*Крошка сын к отцу пришёл,
И сказала кроха:
«Не могу и не хочу!
Мне, папаня, плохо!»*

Тучи сгущались! «Надо обладать немалым мужеством, чтобы говорить банальности!»² Но в силу предстоящих событий и метеорологических особенностей Одессы в зимний период они таки сгущались.

Новый год был пропит насквозь. Каждый экзамен зимней сессии завершался обильными возлияниями – у кого на радостях, а у кого с горя. Однако и те и другие из одноклассников предпочитали эпикурействовать на моей территории, поскольку я была единственной на тот момент счастливой обладательницей двадцати четырёх коммунальных метров в центре города. К тому же шестиметровые своды (не рискну назвать их потолками) позволяли всему кагалу курить без особого вреда для атмосферы общения.

После зимних экзерсисов пятого курса сомнения от Герцена преформировались в супрематизм по Маяковскому. Да я бы куда угодно пошла, если бы меня кто-нибудь научил, что делать... Понимаете, о чём я?

Негостеприимно разогнав забывших дорогу в отчие дома и общагу, я встала и пошла.
К Шурику.

Студентом медицинского института он, слава богу, не был, что вселяло надежду на присутствие здравого смысла, объективного взгляда и если не разумного, то как минимум последовательного подхода к вопросу.

Сан Саныч ничтоже сумняшеся прихватил бутылку высококачественного «Абсолюта» из папиного «культурфондового» НЗ, турецкого печенья из маминой тумбочки, и мы отправились на монастырские плиты – решать вопрос из вопросов. Это ведь только у матросов нет вопросов. А в голове студентки пятого курса медицинского института торчал ржавый гвоздь выбора будущей специализации. Так что даже спиритический сеанс с духом Чернышевского не помог бы разобраться – как же оно всё так вышло.

Однако есть более простые, проверенные народом средства.

Оприходовав по первой сотке из пластиковых стаканчиков, мы перешли к основной цели нашего зимнего саммита у самой синевы Чёрного моря.

– Шура, – сказала я, захрустев печеньем, – «у меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься?»

– Э-э-э-э... «Нужные работники – столяры и плотники», а?

– Да рада бы, – я глубокомысленно затянулась протянутой мне сигаретой, – только поезд с плотниками ушёл в сторону лесоповала ещё вчера! И я на него безнадежно опоздала! И я всё ещё жива!

Шура неожиданно лихо вскочил на парапет и продекламировал:

Инженеру хорошо,
а доктору – лучше,
я б детей лечить пошёл,
пусть меня научат.
Я приеду к Пете,

² Уайлдер Торнтон. Мост Короля Людовика Святого.

я приеду к Поле.
– Здравствуйте, дети!
Кто у вас болен?³

— Вот зачем вы, Шура, стебаетесь об чужое горе?! Завтра у нас предварительное распределение по специальностям, а я за пять лет так и не определилась, доктором чего я предварительно хочу быть... И чего это я вообще хочу быть доктором, а?! – и тяжело вздохнув, заглянула в опорожнённую ёмкость.

– Да бросьте вы глумиться над собою, Татьяна Юрьевна. Давайте-ка уедем отсюда на фиг куда-нибудь далеко-далеко! – жарко прошептал Шура, не замедлив налить ещё по сто. – «Ах, вы витры. Лыхие витры...»

От «радостной сорокаградусной» защекотало в носу.

– Куда ехать? Жизнь прожита, – ответила я, вытирая рукавом нос, со всей горючей мудростью своих двадцати. – Давай будем думать... Вот смотри – другим-то везёт – им, кроме терапии, ничего не светит.

Шура тяжело вздохнул, отхлебнув прямо из бутылки, и осторожно предположил:

– А может, невропатологом?..

– Да ты что!!! Я анатомию нервной системы не помню, и, вообще, не нравятся мне все эти позы Ромберга и миопатии Дюшена.

– Зато у них молоточек есть.

– А у ЛОРИков – шахтёрские рефлекторы.

– А у хирургов – скальпель!

– А у анестезиологов – клинок и электрическая «оживлялка»!

– А травматологи голыми руками могут гвозди в стену заколачивать!

– А у рентгенологов – свинцовый фартук!

– А у патанатомов – бензопила! – наш хохот разносился над морем.

– Хорош! – рявкнула я. – Давай серьёзно!

– Давай.

Шура налил, и мы ещё выпили. Очень серьёзно.

Потом ещё серьёзнее.

И ещё – пока шли от монастыря до Аркадии.

И далее – от Аркадии до Ланжерона.

Допив последки в парке Шевченко, снова затарились в ближайшем ночном магазинчике. Серьёзность подступала к краям, и мы отправились ко мне, отягощённые намерением обговорить, наконец, «вопрос вопросов» за партейкой в клуб.

Превратив за какой-то час «ещё» в «уже» и выведя попутно формулу конструкции фундамента мироздания, мы поняли, что «враг не дремал», – наступило утро. Пора заливать в себя кофе и отправляться на голгофу. То есть на кафедру физиотерапии, где и будут рассматриваться наши персональные дела через призму face-контроля с целью вычленивших среди блатных. Всех прочих ждала немедленная мобилизация во всякие околотерапевтические войска.

Пока мы шли по Приморскому бульвару, настроение моё, надо признать, становилось всё хуже. Надо же такому случиться: у меня карт-бланш на выбор будущей специализации, а

³ Отрывок из стихотворения Владимира Маяковского «Кем быть?».

– Привет, псих ненормальный! – радостно воскликнул Шурик и заключил Вадика в медвежьих объятия. Господство мышечной массы над силой нервного духа в действии. – Идём покурим! Сейчас Танька отстреляется, и в «Меридиан» пойдём, а потом к ней завалимся матом ругаться и в карты на раздевание играть!

Взгляд Вадика стал менее идиотическим. Жизни окружающих были спасены. Парни вышли на крыльцо. А я присела прямо на пол, подперев стеночку. Мне стало безумно весело. Всё вокруг казалось невероятно смешным и нелепым. Особенно сын заведующего кафедрой детских болезней, проходя сквозь строй, горделиво объявивший:

– Кожвен! Я – в «Меридиан»!

– Вовка, ты туда лучше не ходи пока, – моё человеколюбие высказалось весьма саркастичным тоном. Я поднялась с пола, чтобы выйти на улицу – отсмеяться вдоволь, выкурить сигаретку, протрезветь и... надо же было такому случиться, что я оперлась на дверную ручку. Дверь раскрылась. В полнейшей тишине все уставились на меня. Из-за раскрытой двери раздался препротивнейший женский голос: «Следующий!»

Ну и что мне оставалось делать? Встряхнулась и вошла.

– Фамилия! – спросил меня скрипучий предклимактерий откуда-то сбоку.

Оглядев уставившихся на меня членов комиссии, я глухим контральто изрекла:

– Романова.

Тут же сработал рефлекс боязни слишком коротких ответов:

– Анна Ярославна.

Вы никогда не присутствовали на клиническом разборе кондового шизофреника с его непосредственным участием в дискуссии? Тогда вам сложно представить выражение лица уставившегося на меня декана. Он судорожно запустил руки себе в волосы и, сорвавшись на фальцет, пискнул в сторону вопрошающего гласа:

– Полякова! Татьяна Юрьевна! – и, резко перейдя на бас, прочревовещал без паузы уже в меня: – Не выёживайся!

– Анна Ярославна была Мудрая, если мне не изменяют нейроны головного мозга, – подхихикнув, изрёк профессор Носкетти, заведующий кафедрой психиатрии.

– Мудрая она была по отцу. А по мужу очень даже Генрих, Павел Иосифович! – менторским тоном ответила я милому и умному, но вечно сексуально озабоченному старцу.

– Седьмая группа! Первый лечебный факультет!! Пятый курс!!! – уже баритоном надрывно распевал почти на мотив арии князя Игоря в это время декан.

Секретарша порылась в бумагах, и досье на мою персону было передано председателю комиссии. Некоторое время он молча перелистывал кондуит, перемежая чтение пристальными взглядами в мою сторону.

– Здравствуйте! – пожелала я лично ему не хворать.

– Сверчковский. Борис Александрович. Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения.

И, немного помолчав, главнокомандующий отрекомендовался полностью:

- Действительный член нескольких академий.
- Действительный? Ух ты! – вполне искренне восхитилась я.

Носкетти хихикнул ещё раз. Декан посинел.

- Ну, и что вы нам расскажете, Полякова... Анна Ярославна?

Декан тем временем ожил и начал рассказывать глубокоуважаемой комиссии, какая я в общем и целом киса и лапочка, умничка и разумничка, талантище и трудолюбие под одной немного съехавшей крышей. И что моя работа о поверхностно-активных веществах в метаболизме гельминтов, написанная в бытность старостой биологического кружка на первом курсе, выиграла какую-то там бронзовую медаль на какой-то там выставке народных достижений. И что я активный член СНО с 1917 года. Что именно я лаборантствовала изо всех сил в научной работе заведующего кафедрой патологической физиологии, получившей международную премию имени кого-то там. И что я написала стихотворную оду на открытие конгресса патологоанатомов, где, между прочим, представила вовсе даже не студенческий, а практически фундаментальный труд по сравнительной характеристике поджелудочной железы скотины реузуположительной и твари реузуполитательной. И что в зачётке моей, кроме «отлично с отличием», иных записей и не сыскать, даже с графологической экспертизой...

Члены комиссии смотрели на меня с большим сомнением. Я делала декану большие глаза и еле сдерживала желание, восхищённо присвистнув, уточнить, кто это у нас такое совершенство.

- Саша, помолчи! – строго сказал Действительный Александру Ивановичу. – Я хочу послушать, что нам расскажет сама... Анна Ярославна.

Вече отвлеклось от переключивания бумажек с места на место, и все уставились на меня.

Студенточка двадцати лет, сорока семи килограммов весу, во всём полагающемся третьему дню пьянки хмелю, оглядев всех этих доцентов, профессоров, членов-корреспондентов, действительных и не очень, а также представителей министерства, облздравов, городских управлений и т.д. и т.п., испытала приступ безудержного веселья. Параллельно почему-то совершенно протрезвев. Не знаю, кой чёрт её дернул? То ли наследственная шизофрения по бабушкиной линии, как результат инбридинга в ряду дворянских поколений? То ли дед – люмпен, алкоголик и хулиган – по отцовской? То ли не вовремя всплывший в голове фильм «Карнавал»? Уж больно мизансцена благоприятствовала. На декана было жалко смотреть. Верховный Жрец сверлил меня взглядом без тени улыбки.

В общем, надув щёки (исключительно с целью не расхохотаться), я произнесла приветственный спич:

Садитесь, я вам рад. Откиньте всякий страх
И можете держать себя свободно,
Я разрешаю вам. Вы знаете, на днях
Я королём был избран всенародно,
Но это всё равно. Смущают мысль мою
Все эти почести, приветствия, поклоны...
Я день и ночь пишу законы
Для счастья подданных и очень устаю...⁴

⁴ *Алехтин. «Сумасшедший»*

В гробовой тишине Сверчковский прожигал меня аргонной сваркой своего взгляда. Его маска... то есть очки – запотели. Все остальные члены комиссии уткнулись носами в стол. Декан мимикрировал и слился со стеной. Первым отмер добродушный старичок Носкетти.

– Быть может, психиатрия? У меня как раз есть вакантное местечко на кафедре. На четвёртом курсе девочка написала замечательную работу «К вопросу о влиянии дигоксина и тетрагидроканнабиола на творчество ранних импрессионистов», а её замечательная поэма «Нет туйона – нет ушей, хоть завязочки пришей!» до сих пор цитируется всеми сотрудниками и пациентами клиники.

– Уж лучше тогда наркология.

Все оглянулись в поисках источника реплики.

– Полякова, ты же ходячее наглядное пособие о дурном влиянии этилового спирта на неокрепшие умы! – голосом декана сдавленно продолжало шептать белое пятно на белой стене.

– Ой, вот только не надо, Александр Иванович, – парировала я. – А кто на олимпийской базе в Стайках у меня последнюю бутылку водки экспроприировал с воплями: «Грabbь награбленное!»? А потом полночи фальшиво распевал под окнами: «Я люблю вас, я люблю вас, Ольга», хотя никакой Ольги у меня в номере не было?!

– Ага! Зато Примус там был! Я всё видел! Он утром к проруби купаться без трусов вышел, чем окончательно деморализовал спортивный дух! – взвизгнул декан, вдруг неожиданно проявившись всеми цветами радуги. Поперхнулся и добавил солидным баритоном, обращаясь к комиссии: – Татьяна Юрьевна – спортсменка и не раз защищала честь нашего вуза на соревнованиях.

– Отличница, комсомолка, спортсменка, – изрёк главнокомандующий тоном статуи Железного Феликса.

– Я ещё могу басню Крылова и матросский танец «Яблочко», – с подобострастной готовностью предложила я.

– Апухтина вполне достаточно, – неожиданно миролюбиво сказал Сверчковский, – Татьяна Юрьевна, что вы хотите?

– Я хочу мира во всём мире, «от каждого по способностям, каждому по потребностям» и писателем хочу. Чтобы быть.

– Я же говорю – психиатрия! – подал очередную реплику неугомонный Павел Иосифович.

– Татьяна Юрьевна, я слышал о неиссякаемом потоке вашего острословия от Николая Валериевича. – Мхатовская пауза главы комиссии позволила всем членам, которые с предыдущей серии всё ещё оставались в танке, осознать значимость сказанного. – Но я настоятельно прошу вас сосредоточиться и отвечать по существу!

– Потому что любое сказанное мною слово может быть обращено против меня на Страшном суде? – уточнила я.

– Потому что вы тратите наше время, а за дверью ещё около пятидесяти таких же бронеподростков, как вы. Итак, кем вы себя видите... в медицине? – сузил рамки Сверчковский.

– Знаете что, Борис Александрович, давайте считать, что я страстно хочу быть терапевтом, хотя зелёная пижама идёт мне куда больше белого халата, а Вадиму Короткову мы отдадим мою гипотетически возможную хирургию, – сказала я без тени иронии. Тишина, повисшая в аудитории, стала куда более зловещей, чем во время моего ёрничанья.

– Боюсь, Татьяна Юрьевна, что ничего не получится. На вас адресный заказ. Вы, как особо ценный интеллектуальный кадр, остаётесь при кафедре акушерства и гинекологии номер

один на базе многопрофильной областной клинической больницы. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Последнюю фразу он произнёс в тон моим первоначальным экзерсисам.

– Зачем тогда было устраивать весь этот балаган с выяснением моих желаний? – серьёзно спросила я.

– Мне было интересно, что это за персона, по поводу которой Николай Валериевич позвонил мне лично, предупредив о возможных осложнениях и самоотводах. Поздравляю вас, Татьяна Юрьевна. До новых встреч. Что-то подсказывает мне, что они ещё будут.

Мне дали понять, что представление окончено, пора бы и честь знать.

Дверью я хлопнула от души. Хотя это, надо признать, было чистой воды мальчишеством. То есть... Ну, как это – в женском роде?..

Свет божий не принял меня дружескими объятиями Шурика, и я поплелась в «Меридиан», где репетиция уже переходила в фазу «кто кого больше уважает».

Только Примус молча курил в стиле «chain-smoke», изредка грозя кулаком кому-то невидимому.

Позже, у меня в коммуне, мы ругались матом и играли в карты на раздевание. Вадик страшно жульничал. Мы допивали водку и гадали на кардиограммах. Даже тишайший и вечно молчаливый Вася пытался острить на предмет того, что я разбила ему сегмент S-T. Я же, сидя у Примуса на коленях, думала о том, как несправедливо устроен мир. Почему? Почему великолепный Примус не получил того, чего хотел? Почему бесстрашному Ваде не досталась хирургия? Почему я... Стоп. Я тоже не получила того, чего хотела.

– Кроткий! – заорала я Ваде, хотя он сидел прямо напротив меня. – За полтора года много воды утечёт! Я перестану писать сценарии команде КВН, и шеф пойдёт на уступки! Я наконец-то брошу институт! Делов-то! Шурик вон целых три бросил – и ничего... И у всех у нас всё-всё будет хорошо!

– Особенно если ты выйдешь за меня замуж, – добродушно сказал Шурик.

Я отмахнулась от него и продолжила:

– И не просто хорошо, а просто озвездоплнительно! Потому что рано или поздно наступит та нулевая отметка, та точка невозврата, когда мир уже не сможет давать нам то, чего мы не хотим. И вот когда мы переполнимся этим «не хочу» по самое «не могу», как гипертонический раствор, вот тогда...

– Кстати, – включился в реальность Примус, – о гипертонических растворах. У тебя раскол есть?

– Нет, а что?

– А то, что завтра некоторым сутки пахать в реанимации. Так что, дама и господа, быстро оделись и пошли в магазин. За водкой, солёными огурцами и прочими смыслами бытия.

– И купаться! – сказал Коротков.

– Вадя, январь месяц! Я не хочу купаться! – категорически отвергла я неразумное предложение.

– Нет, мы пойдём купаться, чтобы уже, наконец, приблизить это самое «не могу» через «не хочу»!

– Дураки вы все, – обиделась я. – Мне нужно было сформулировать что-то важное. Что-то неуловимое... А вы со своим рассолом. Я хотела сказать вам о справедливости, о желаниях, о воле к победе, о безвольности и безразличии, о неисповедимости путей...

– Танька, не трюнди! – добродушно перебил меня Примус. – Ты будешь отличным акушером-гинекологом, помяни моё слово. Характер у тебя кровавый, человек ты хороший, хоть и сука редкостная. К тому же скорость реакций у тебя запредельная, и верные решения ты принимаешь интуитивно, если не успеваешь задуматься. А это в хирургических специальностях определяющий фактор. Как раз тебе-то в терапии делать и нечего. Ты там свихнёшься моментально или окончательно сопёшься. Столько чая тебе не сдюжить.

И Примус радостно заржал, будто изрёк остроту несравненной гениальности.

Шура дружеским пинком по печени поднял уснувшего было на полу Васю Перцена. Впрочем, последнему это ничем не грозило. Будущее отечественной невропатологии не употребляло алкоголь. И не курило. Оно училось, училось и училось, как завещал великий Бехтерев⁵. Примус кинул на Васю людоедский взгляд и принялся трусить его, как тряпичную куклу, вопя: «Вася! Ну, скажи что-нибудь трезвое, умное и серое заядлым гениям-алкоголикам!!!»

И еле соображающий Перцен внятно, хоть и на полном автомате, произнёс принцип доминанты Ухтомского: «Во все моменты жизнедеятельности создаются условия, при которых выполнение какой-либо функции становится более важным, чем выполнение прочих».

– Ну что ж, – довольно изрёк Шурик, – что и требовалось доказать. Через уста невинного отрока никому не нужная истина обретает офигенно уместный смысл.

И мы шумной толпой отправились на промысел бытия...

⁵ Известный невролог.

Первая ночь

Получить врачебную специальность не так-то легко.

Старый анекдот о том, что врач должен быть внимателен и небрежлив, помнят все. Но немногие знают, что студенту медицина как никому другому нужна цепкая память и умение сидеть на заднице. Логикой не постичь анатомии и гистологии – только зубрёжкой. Не поддаются нормы эритроцитов, тромбоцитов, факторов свёртываемости осмыслению и не выводятся формулами. Зубри, брат, или провалишь экзамен.

Как только сдан зачёт по остеологии, кажется, что кошмар позади. Но нет! Он только начинается. После ангиологии, спланхнологии, миологии и особенно неврологии тебя уже сложно удивить теоретической физикой. Ты уже не затыкаешь брезгливо носик и не жмуришь глазки при запахе формалина. Ты спокойно ешь яблоко, изучая сулькусы и форамены на человеческом черепе – желательно натуральном, потому что пластиковый череп для изучения краaniuma всё равно что резиновая женщина для постижения искусства любви. Уже шутливо фехтуешь на большеберцовых костях с приятелем, не особо думая о том, что эта кость когда-то была составляющей частью живого тела. И кто знает, может, именно эта душа смотрит на вас – молодых и жизнерадостных посреди цинковых столов со стоками, выстроившихся в шеренгу по два в огромном анатомическом зале, – и улыбается. Нет, не кошуновствуют будущие врачи. Не совершают они акт вандализма. И не играют в игрушки. Они постигают философию, хотя бы они того или нет.

Первые три сугубо теоретических года кажутся бесконечными. «Господи! Ну почему же я был так глуп и не проспал всё детство?!» – потрясаешь ты атласом Синельникова в потолок. «Боже, когда же всё это закончится?!» – стонешь ты над гистологией Елисеева, зарисовывая в альбом кошмарный сон сюрреалиста под названием: «Строение среднего уха». «Ужас! Весь мир – сплошная угроза и одна большая инфекция!» – моешь ты руки по пять раз перед едой после микробиологии и немножко успокаиваешься после иммунологии. «Если меня выгонят из института, потому что председатель госсов зимней сессии – монстр, я смогу продать свой альбом по биологии на аукционе «Сотбис», выдав его за ранее неизвестные работы Дали», – серьёзно изрекаешь ты, показывая шедевр «Вошь головная, платяная и лобковая» друзьям, и вас сгибает в молодецком хохоте. Плюнув на факторы Хагемана, вы идёте на дискотеку, а потом всё чудесным образом всплывает в голове на экзамене. «Чудеса не противоречат природе, а лишь известной нам природе»⁶.

А изучив строение клеток головного мозга, ты так и не понял, где там это всё хранится, но уже поверил в безграничные возможности человеческой памяти, интеллекта и духа. Слабые – хнычут и зубрят в тепличных домашних условиях. Сильные – работают, изучая урывками в метро, трамваях, троллейбусах и между уборкой операционных.

А кто знает город лучше студентов-медиков? Управление городской архитектурой? Сомнительно. Цикл детских болезней – у чёрта на куличках на одной городской окраине. Хирургия – на другой. И зачем фтизиатрия в расписании зимой? Оттуда же вечером не выберешься и страшно так, что надпочечники сводит! Какого чёрта я два часа слушал этот бред? А ведь и правда, почему его изобретение никто не внедрил, ведь как всё просто, ведь правильно! Ведь верно! И на деревянной ракете вполне можно полететь на Марс! Какая всё-таки прекрасная штука эта шизофрения! Ой, у меня такие же симптомы! О Боже! Я умираю от рака, а я же так молод! Слава богу, онкология закончилась! Хотя, по-моему, у меня уже дерматит и сразу все венерические заболевания. Вот и лимфоузлы в паху увеличены! Точно – у меня рак и все кожные болезни! Вместе с дерматитом, бронхитом, пневмонией и системной красной

⁶ Блаженный Августин.

волчанкой! Кого волнует, что ты не болел ветрянкой? Изволь явиться на занятия! Что, упал в обморок, только увидев дрель на операционном столике? Ну, ничего, привыкнешь. Или в терапевты? Но там, понимаешь ли, мозгами надо шевелить, а ты до сих пор ничего не выучил про сегмент S-T и не различаешь сердечные шумы своими истерзанными роком ушами. Или, знаешь что, вообще уходи, к чёртовой матери! Иди в деканат, забирай документы! На хрен ты нам нужен тут такой мнительный и ленивый!

Вы не верите, что этот здоровый дядька, лихо вкручивающий шурупы в окровавленную кость, когда-то упал в обморок, увидав, как игла вошла в вену? Я тоже не поверила бы, но я его столько лет знаю... Вы злитесь, что этот тишайший брюнет, рекомендованный вам культурным и обаятельным, сказал, что если вы не приобретёте такие-то лекарства, то вашим почкам полный пэ? Поверьте, он может рассказать вам сагу о клубочковой фильтрации, клиренсе креатинина в цифрах, показателях и даже стихах. Но у него нет времени – обход, перевязки, цистоскопическая, операционная, рентген-кабинет, и он ещё в поликлинике сегодня на приёме. Он всё знает! Он на «отлично с отличием» сдал нормальную, патологическую и ещё бог знает какую физиологию, нефрологию и урологию. У него красный диплом, он закончил спецклинординатуру, когда вы ещё пешком в детский сад ходили, и с ним я пойду в разведку, к чёрту на кулички и переплывать Лету на скорость, не задумавшись ни на секунду. Так что пусть вас не смущает короткое, ёмкое, доходчивое русское слово. Возможно, время, не потраченное на вас, спасёт чью-то жизнь. А лекарство вы уже купите, вы же прониклись? То-то. А что лекарство покупать надо – так это не к нему и даже не к администрации больницы. Это в иные эмпирии. Практические врачи в них не парят.

Хотя и врачи бывают разные. Есть и свои штабисты, и свой генералитет. Есть главнокомандующие и рядовые. Унтер-офицеры и кавалерия. Те, кто на передовой, и тыловики. Но этому не учат в вузах. Это узнаёшь в первом бою. Учебном. Потому что после шести лет теоретической подготовки ты отправляешься в интернатуру. Твои ровесники уже инженеры, учителя, юристы, экономисты, учёные, дизайнеры и многие-многие, а ты... Не студент и не врач. Врач-интерн. И будь у тебя борода и трое детей – ты пока никто, имя тебе – никак. «Поддай-принеси-постой-унеси-посмотри-запиши».

И ходишь, и смотришь, и пишешь, потому что это великое искусство – правильно написать историю болезни. И стоишь за спиной у хирурга, потому что ни один учебник, ни один, пусть даже самый совершенный, атлас оперативной хирургии не отразит то, что на самом деле происходит в операционной ране. И испытываешь ты причастие, первый раз оттягивая крючком ткани. И испытываешь ты посвящение, соединив ткани, ушив «послойно наглухо». И испытываешь ты священный трепет избранного, первый раз разъяв скальпелем живую плоть. И будешь счастлив ты. Пьян ощущением своего могущества. И долбанёт тебя боженька прямо по твоей гордыне гематомой послеоперационного шва. И предвосхитишь ты, как долог, тернист и труден путь, избранный тобою. И несказанно повезёт тебе, если на пути этом попадутся тебе Учителя. В белых, зелёных, голубых и даже розовых одеждах. Грубые и трепетные одновременно. Ругающиеся матом и напевающие что-то из Моцарта в операционной. Непогрешимые и многогрешные. Бродящие в лабиринтах Тьмы, но знающие Свет. Добрые и злые. Спокойные и нервные. Сытые и голодные. Обычные люди. Такие, как вы. Такие, как я. Они спасают жизни. И губят их. Они пьют кофе, чай и водку. Сок и воду. Любят женщин, детей и собак. Мужчин и котов. Или не любят. Они более других осведомлены, что курить вредно. Они могут с биохимической, патофизиологической и даже патанатомической точностью рассказать вам, почему курить вредно и чем это грозит. И многие из них всё равно курят.

Интернатура со всеми её подводными камнями, тёплыми и холодными течениями, эврейскими первыми смертей и мелкими оврагами администрирования – такая же жизнь, как и всё остальное. Больница – это дом. Семья. Со своей главой – плохой, хорошей или никакой. Мона-

стырь со своим укладом и матерью-настоятельницей. Больница – это церковь всех религий. Суеверие и отсутствие суетности. Вера, насквозь пронзившая заядлых атеистов. Конюшня со своими денниками, откуда надо убирать навоз. Офис со своими сплетнями, интригами и борьбой за власть. Богадельня и приют. Храм. Цирк и обитель скорби. Стройка и колхоз, трансформаторная будка и многие километры труб. Фабрика-кухня и прачечная. Министерство культуры и военно-полевой штаб.

Офис-менеджер, подсевшая младшего директора по продажам, вызовет восторг глянцевого журнала, и восхитится юная яппи-поросль её деловыми качествами. Никто и не спросит, сколько договоров не ушло вовремя по нужному адресу, потому что кого они интересуют, по большому счёту, эти договоры, счета-фактуры и сорванные сроки на поставку силиконовых членов. Поэтому не выглядит офисное предательство предательством и не является им на самом деле. Свиньи играют в метание бисера, добродушно улыбаясь друг другу в курилках, справляясь о делах на любовном фронте и попутно изучая твои слабости, чтобы воткнуть свой электронный нож в наиболее уязвимое место.

Врачи могут искренне ненавидеть друг друга. «Какой, блин, ты мудака! Мудаком ты был – мудаком и остался! Чтоб ты уже сдох, придурок корявый!» – орёт глубокоуважаемый Игорь Анатольевич не менее глубокоуважаемому Петру Александровичу. «Да Игорь же ни фи́га не умеет, кроме дешёвых понтов. Копни поглубже – пфуй! Пшик! Ноль без палочки!» – попивая коньячок с акушеркой, спокойно сплетничает глубокоуважаемый Петр Александрович о не менее глубокоуважаемом Игоре Анатольевиче. «Ой, Вовка-то опять из дому удрал к любовнику – мне Тамара звонила, плакала!» – доверительно шепчет тебе коротышка-начмед, ещё две минуты назад оравшая на тебя на утренней врачебной конференции так, что, казалось, стёкла лопнут. А шепчет не о ком-нибудь, а о Владимире Ивановиче – заведующем отделением патологии беременности, прекрасном хирурге и удивительном человеке. Тебе, в общем-то, всё равно, кто, кого и куда любит. Но ты уже в курсе всего с самого начала. «Ой, Светка – потрясающий хирург и такая же потрясающая неряха! И вечно альфонсов себе каких-то находит, хотя в молодости её трахал кто-то из министерства – она и место это через койку получила – вернее, не это, ну какая разница!» – удивительно нежным тенором, жестикулируя огромными, но изящными руками, воркует тебе заведующий отделением патологии беременности, прекрасный хирург и удивительный человек Вовка о Светлане Петровне.

Ты узнаешь много нового о них и с не меньшим удивлением – о себе. И у тебя уже есть список достоинств и недостатков. И в твой кондуит уже записаны все твои половые связи – реальные и выдуманные. И о тебе уже орут, шепчут и воркуют на этажах, в родзалах и кабинетах. И ты – орёшь, шепчешь, воркуешь, негодуешь и смеёшься. Злишься и плачешь. Радуетесь неожиданному перекуру, когда ночь рождает день и ему не надо говорить: «Тужься!» А куришь ты не одна, а с анестезиологом. Вы хохочете и хлопаете друг друга по плечам, хотя не очень-то симпатизируете друг другу. Но буквально только что – полчаса назад – вы спасли Жизнь. Вернее, уговорили Смерть не торопиться. Убедили её в том, что вызов – ложный, и даже заплатили неустойку. Кусочком своей Жизни. Своих жизней. И так глупы и мелки становятся ваши сиюминутные дрязги, ваши гневные обвинения на пятиминутках в адрес друг друга. Нет, настанет утро, и всё повторится. И Светлана Петровна снова и снова будет обсуждать с тобой профессоршу, с которой она нежно целовалась пять минут назад. И снова Игорь Анатольевич сцепится с Петром Александровичем. Но как только из родзала раздастся призывный вопль: «Петя!!!» – Петя прибежит, и проконсультирует, и поможет, и сделает. Но как только из операционной проскрипит начмед: «Владимир Иванович!» – принесётся Вовка, и помоется, и найдёт, и ушьёт. Потому что это – не насквозь фальшивая корпоративная этика и не страх не подчиниться начальству и потерять место, потому что Петя Игорю не начальство, а такого специалиста, как Вовка, в любой клинике с руками оторвут. Это та самая единая и неделимая частица нас, где нет места вражде и предательству, мести и злобе. Это не работа «в

команде» – это обычная больничная жизнь. И будете вы пить кофе, и начмед скажет: «Кури, к чёртовой матери, у меня в кабинете!» И будете вы вспоминать былое и думать. Думать о том, чего не постичь ментально, что ускользает, вильнув хвостом. А потом, со временем, и думать перестанете. Просто будете знать, что добро и зло – суть одно, рождение и умирание – суть одно, детство и старость – суть одно, женщина и мужчина – суть одно. А все сплетни, дразги, ругань – совсем другое. Почти никому, исключая военных и спасателей, не знакомо такое чувство единения и Единства. Хотя и богохульничают доктора, и посты не соблюдают, и не... Хотя, постойте! Врачи чтут юродивых, старых, сирых и убогих покруче церковников. Чтут домовых, поездных и подвальных посильнее язычников и друидов. Врачи чтут Великое Одно, испытывая откровение Единения куда чаще прочих.

А так-то – всё как у всех. Быт. Отношения. Особенности. Специфика. Добро и зло.

«– Ты кто?»

– Я часть той силы...»

* * *

Итак, в те далёкие-далёкие времена, когда плазменные телевизионные панели водились только у диктаторов «банановых» республик, я стала врачом-интерном большой-пребольшой многопрофильной клинической больницы. Я всё ещё не хотела быть доктором, несмотря на красный диплом об окончании медицинского вуза. Но тем не менее явилась на первое дежурство к месту распределения, прихватив с собою О. Генри «Короли и капуста». А местом этим был физиологический родзал.

Я была спокойна, как сфинкс. Не так далеко ушедшие от меня «старшие» товарищи – то есть те, кто уже год-два как окончил интернатуру и писал истории родов и журналы операционных протоколов за оперирующими хирургами на законных основаниях, успокоили меня: «Никому ты тут не нужна, потому что и нас, грамотных и опытных, достаточно!»

«Как бананов в Анчурии?» – спрашивала я тех, с кем ещё вчера курила под кафедрой физвоспитания. Они в ответ лишь презрительно-сертифицированно фыркали.

Поняв, что никто не оценит моего изысканного юмора и что, как предполагалось, наличие сертификата врача акушера-гинеколога творит с людьми что-то недоброе, я завалилась в дежурку читать о похождениях Кьюо и Оливарры-младшего.

Через полчаса туда заявила дежурная врач Елена Анатольевна, ещё три года назад вполне отзывавшаяся на «Ленку» и умолявшая меня передать ей «по наследству» Стасика. Я, кстати, передала. Так что совершенно не ожидала от Ленки пламенного рыка:

– Интернам не место в дежурке! Интерны должны быть на посту!

– Лен, привет. Так в родзале же нет никого! – спокойно ответила я.

– Не «Лена», а Елена Анатольевна! – с невыразимым блаженством сказала она. Да. Реванш за то, что у них со Стасиком не «срослось», был взят красиво.

В те далёкие исторические времена я не была такой зубасто-ироничной и всех ещё, глупая, жалела и ко всем проникалась пониманием и сочувствием. Поэтому я молча встала и вышла, не забыв прихватить О. Генри с собой.

Оглядевши пустынный коридор, я заметила два стола у стеночки и присела на стул, ощущая себя казанской сиротой, едущей в Москву «зайцем». Через полчаса откуда-то из потайных боковых дверей вынырнула толстая бабища и рывкнула:

– Вы кто?!

– Интерн, – боязливо проблеяла я.

– А-а-а, – разочарованно протянула тётка и исчезла в какой-то очередной из дверей. Которых, к слову сказать, направо и налево по коридору тянулось поболее, чем в «Алисе в Стране чудес». Через секунду вынырнув оттуда, она лениво проорала: – С книгой нельзя! – И снова пропала.

Я отнесла книгу в дежурку. Лена демонстративно прервала телефонный разговор и попросила меня удалиться, потому как, видите ли, обсуждает по телефону архиважные врачебные тайны.

Я вышла. Настроение было препаршивое. Пустынный коридор был на том же месте и в том же виде. Ни Дронта, ни Белого Кролика не появилось. Я вышла из родильного зала и спустилась на лифте в подвал. Покурить.

В несанкционированном курительном уголке стояла стайка густо накрашенных девиц: судя по разговорам – медсестёр детского отделения. Но тут раздался шум открывающихся дверей лифта, и все добрые нянюшки дрыснули, моментом затушив бычки в дырявой эмалированной кастрюле.

Я никогда не спасалась бегством. «Бегущий не в спортивном костюме вызывает подозрения», говаривала в своё время моя великолепная бабушка. Я была в амуниции иного рода. Потому продолжила курить со спокойствием всё того же сфинкса. Полагаю, он был спокоен, даже когда Наполеон непонятно зачем отстрелил ему нос. Ко мне приближался невысокого роста сухощавый мужчина поздне-средних лет. Он неспешно шёл, засунув руки в карманы распахнутого элегантного пальто, и что-то напевал себе под нос. Подойдя ко мне, он также нараспев спросил:

– Кто тут у на-а-с в столь поздний час столь нагло нарушает санэпидрежи-и-им? Ему мы спуска не дади-и-им! – и лукаво прищурился.

– Я вра-а-ч-интерн, и я не зна-а-ал, что тут – родза-а-л, а не подв-а-ал! – неожиданно фальшивым фальцетом подхватила я.

Он рассмеялся и протянул мне руку:

– Пётр Александрович, заведующий физиологическим отделением. С кем имею честь?

– Татьяна! – пискнула я и затаилась.

– Не Татьяна, а – Татьяна... Как вас по батюшке?

– Юрьевна.

– Ну что ж, Татьяна Юрьевна, милости прошу со мной в родзал. Курить вредно, но, думаю, вы знакомы с этим фактом. Я с пониманием отношусь к человеческим страстям и порокам. К некоторым из них я, чего уж греха таить, и сам питаю нежную привязанность. Но если вас за этим занятием обнаружит Светлана Петровна – несдобровать. Ну-с, предупреждён – значит вооружён. Прошу!

Мы сели в лифт и поднялись на пятый этаж.

Он, нимало не смущаясь своего пальто и уличной обуви, прошёл к дверям, увенчанным табличкой «Заведующий родильно-операционным блоком». Открыл дверь ключом и жестом пригласил меня войти.

– Какими судьбами к нам?

– По распределению.

– А почему я вас раньше не видел?

– Я была на другой клинической базе. К вам переведена только сейчас.

– Понятно. На кесаревом ассистировала?

– Нет.

– Ну, когда-то надо начинать. Через полчаса операция. Пойдешь первым ассистентом.

Под этот разговор он, нимало не смущаясь и не уточнив, не смущает ли сие обстоятельство меня, переоделся. Вначале аккуратно снял брюки, методично расправив их на перекладине вешалки. Затем также неспешно повесил на плечики рубашку. И уже затем спокойно надел пижаму и халат.

– Я думаю, ничем таким я вас не поразил? – спросил он, повернувшись ко мне.

– Нет. – А что я ещё должна была сказать?

– Вскоре у вас напрочь пропадёт половое дифференцирование там, где не надо, но ярко обострится именно тогда, когда это уместно! Я чувю в вас большой потенциал! – провещал Пётр Александрович и, вздохнув, медленно провел ладонью у меня ниже спины.

Я отнюдь не была выпускницей Смольного института. И лет мне было больше шестнадцати. Так что с руки или с ноги захватить по морде, невзирая на должность, я была вполне способна. Но... Не было ничего похабного в этом мужском жесте. Это был порыв искусствоведа, прикоснувшегося к неизвестному доселе наброску Моне. Ни трепета, ни вожделения. Оценка. Понимание. И удовольствие профессионала. Не более.

– Ну, раз вы всё правильно понимаете, – заявил заведующий, хитро глянув на меня, – тогда по пятьдесят грамм коньяка. Но не больше! – Произнеся это, Пётр Александрович достал из шкафа початую бутылку, два коньячных бокала и разлил. Настолько одинаково, что и Палата мер и весов не придралась бы.

В этот момент в дверь постучали, и, не дожидаясь разрешения войти, в кабинет ворвалась Елена Анатольевна. Демонстративно не обращая на меня внимания, она затараторила скороговоркой:

– Добрый вечер, Пётр Александрович! Петрову уже подняли и готовят к операции. Я пошла мыться!

– Не надо, Елена Анатольевна. Отдыхайте. Я возьму с собой Татьяну Юрьевну.

– Но я тоже хочу! – обиженно сказала Лена. – К тому же вы сами говорили – сложный случай, третье вхождение в брюшную полость. – И надулась, как мышь на крупу.

– Потому, Леночка, и не надо в ране лишних рук. Спасибо тебе за усердие, но у тебя ещё дела есть. Сделай обход, запиши истории. Ну, и в родзале на подстраховке кто-то должен быть. Не оставлять же интерна!

– Но есть ответственный дежурный врач! – чуть не плача сказала Лена, с ненавистью визуализировав меня в пространстве.

– Ответственный дежурный врач отвечает за весь роддом и отделение гинекологии, а вы, Елена Анатольевна, отвечаете за физиологическое родильное отделение! – Пётр Александрович не повысил голоса, но в тоне зазвучал металл.

Лена вышла, и я поняла, что первое, кем сумела обзавестись на первом же дежурстве, – так это врагом.

Операционные блоки всех отделений похожи друг на друга, как люди всего мира. Две ноги – в норме, две руки, пара почек, одно сердце и одна голова. С некоторыми анатомо-функциональными особенностями. Поэтому я смело двинула в незнакомый оперблок.

Весь институт я работала. Вначале санитаркой, а затем и операционной сестрой в отделении травматологии железнодорожной больницы. Так что ни разухабистые крики младшего

медицинского персонала, ни хлопанье биксов и металлический стук инструментов не могли меня напугать.

Поздоровавшись и оглядевшись, я сняла халат и надела на пижаму полиэтиленовый фартук.

– В своей пижаме нельзя! – сквозь зубы процедила санитарка, недовольно глянув на меня.

«Ну, начинается местечковый снобизм», – подумала я и покорно спросила, какую пижаму из бикса можно взять.

– Любую. Только полосатую не бери – это Петра Александровича.

– Не «не бери», а «не берите»! Сколько можно учить! Вечно ты вначале из себя королеву Марго строишь, а потом перед ними же лебезишь. Ровнее нельзя? – раздался из-за спины приятный голос. Я оглянулась. На меня смотрел привлекательный брюнет. В необычайно красивых синих глазах прыгали чёртики. Натуральные миниатюрные чёртики, с рогами, хвостами и вилами, какими их изображают карикатуристы. Он хорошо поставленным движением театрально потянулся и представился:

– Сергей Алексеевич. Для них. Для тебя – Серёжа. Почётный наркотизатор этого родового гнезда. А ты, полагаю, Татьяна?

– Юрьевна. Для всех! Какую пижаму можно взять? – рявкнула я на Сергея Алексеевича, внезапно обозлившись на весь мир.

– Да бери эту, полосатую. – Чёртики мерзко захихикали. Но я в запале не обратила на это внимание.

Пижамы была с разрезом до пупа, а лифчиком я себя тогда не утомляла. Штаны заканчивались аккурат у меня под коленом и на заднице были украшены пёстрой квадратной латкой. Я была прекрасна, чего уж там. Особенно учитывая то обстоятельство, что ноги я не брила недели две.

Натянув на тапки бахилы, я обмотала себя целлофановым передником и, не спросив санитарки, подцепила из бикса бедуинский намордник. Хирургическую маску. Это такой многослойный марлевый квадрат примерно сорок на сорок сантиметров с прорезью для глаз. Укутывает голову напроц и делает похожим на мумию. Обмотав завязки на шее в два витка, я надела очки и отправилась наконец мыться, решив не обращать внимания ни на кого, что бы ни происходило. Молчать, как будто мне вырвали язык, и общаться только с Петром Александровичем.

В предбаннике операционной залиристо хохотала Елена Анатольевна в ответ на сальные шуточки Сергея Алексеевича. Я сосредоточенно тёрла руки мочалкой, щедро намыленной хозяйственным мылом, и в ответ на очередное санитаркино замечание не к месту и не по делу рявкнула, что два года скребла полы и ещё четыре отстояла операционной медсестрой в ургентной операционной травматологического отделения, в связи с чем она может идти к чёрту. Вода из кранов текла ледяная, а как же. Руки стали ярко-красные, и мне очень захотелось пореветь. Все были недружелюбны, что меня ждало дальше – я не знала. Я тогда ещё не совсем понимала, что самое прекрасное в этом мире – неведомое. Я была маленькой, несмотря на возраст и рост. И глупой, несмотря на опыт и дипломы. Потому что страдала максимализмом. А чтобы научиться максимализмом наслаждаться, нужны время и хорошие учителя. Я ещё и не подозревала, что жизнь щедро подкинет мне и того и другого.

Всё так же напевая, зашёл Пётр Александрович. Отдал какие-то распоряжения персоналу, успокоил беременную девочку парой слов. Но этой пары слов хватило, чтобы ужас, плескавшийся в её глазах, сменился томным женским взглядом и кокетливой улыбкой. Жен-

щина – всегда женщина. Даже с огромным животом в предбаннике операционной. Если рядом, конечно, есть мужчина. Пётр Александрович был мужчиной. Девочку увели в операционную, а заведующий посмотрел на мой прикид и спросил:

– Ну, и зачем ты надела мою пижаму?

– Я спрашивала, что мне надеть. Анестезиолог сказал – эту.

– А, Серёжины шутки. Ну ладно. Что теперь делать-то, не раздевать же тебя. К тому же в роддоме поверье – кто эту пижаму наденет, а я не потребую снять, будет классным хирургом. И доцентом быстро-быстро. Помимо всего прочего. Тем более ты уже и руки помыла. Кстати, чего холодной водой моешь? Гала!!! Ты почему доктору тёплой воды не полила?

– Она меня на три буквы послала.

– И правильно сделала. Я тебя туда же пошлю. Только вначале Татьяне Юрьевне польёшь и мне. Тёплой водой.

Он говорил абсолютно спокойно. И вокруг все тоже успокаивались. Исчезала нервозность и неловкость. Он был в своей стихии. В буквальном смысле – «своей». Он ею повелевал. Даже биксы стукали не так громко. Даже Сергей Алексеевич из дежурного острьяка стал сосредоточенным анестезиологом. Елена Анатольевна ушла на этаж. А мы двинулись дальше – в недра операционного блока.

Слава богу, я работала во время учёбы. Чем выгодно отличалась от стайки таких же, как я, вчерашних студентов. Занятия на клинических базах не дают столь детального представления о работе операционного блока, как перманентное пребывание внутри. Каждая мелочь имеет значение. Последовательность действий. Как и где стоять. И даже как надевать хирургический халат и освоить премудрости завязывания тесёмок. Мелочи, из которых складывается любое ремесло.

Пётр Александрович, перешучиваясь с операционной медсестрой, неспешно облачился в хирургический халат, подождал, пока санитарка обслужит меня, и только затем подошёл к своей стороне стола. Мы обложили операционное поле бельём. Ни острым словом, ни удивлённым взглядом мне ни разу не дали понять, что я тут новичок. Он не исправлял, посмеиваясь, – он показывал чётко и точно то, что сам давно совершал на автомате. А это великое искусство – научить тому, что для тебя уже давно элементарно и записано на подкорке. Без криков и понуканий, без нарочитых демонстративных исправлений и обид. Кроме хирургического и акушерского мастерства Пётр Александрович владел ещё одним искусством – он был Учителем.

Девочка ещё что-то пробормотала, а затем внутривенный вводный наркоз на некоторое время лишил её треволений.

– Можно работать! – серьёзным густым голосом сказал Сергей Алексеевич и...

И руки Петра Александровича исполнили великолепный танец длиной в сорок минут.

Он был хирургом-универсалом. Начинал в центральной районной больнице, после специнординатуры работал в Индии и в Африке. Его учителей уже не было в живых. Таких операций, что умел делать он, уже не проводили. Такого опыта, как у него, не было почти ни у кого в этом тесном-тесном акушерско-гинекологическом мире. Мне выпал джекпот.

За ним бегали многие интерны. Его в качестве учителя и лекаря добивались для своих отпрысков звонками из министерства. Как врач он не отказывал никому. Поэтому как учитель был волен выбирать. Я провела рядом с ним два года, просто случайно оказавшись в нужном месте в нужное время. Случайно ли?.. И, кстати, он никогда не позволил себе ничего более

плотского, чем то единственное невинное поглаживание. Моне вкупе со всеми импрессионистами был не в его вкусе, он предпочитал Рубенса, как почти все сухощавые мужчины.

А тогда я была заморожена действием. Непосредственно участвуя в нём, я в то же время наблюдала со стороны. Это было прекрасно. Премьера «Лебединого озера» лучшей труппой Большого – ничто по сравнению с тем изяществом отточенных движений, где ничего лишнего. Ничего большего, но и ни на йоту – меньшего.

– Кожа. Подкожка. Апоневроз остро. Мышцы – тупо. Брюшина. Дубликатура. Разрез на матке остро – два сантиметра. Тупо разводим до двенадцати. На четвёртой минуте. Зажим на пуповину. Перерезай! Живой, здоровый, доношенный мужского пола. Послед. Кюретаж. В тело матки – окситоцин. Вводи. Выше. Гегар. Там не было раскрытия. Поменять перчатку. Хлоргексидин. Углы. Первый ряд. Второй. Не надо ревердена. Не приучайся к гадости. Перитонизация. Брюшина. Оставим дренаж. Я не люблю наглухо. Мышцы. Надя, не давай мне мышечных хвостов. Длинную. Апоневроз. Тут подкожной – тьфу. Косметика. Чего смотришь квадратными глазами? Дренаж и косметика? Я тебя прошу – чище будет. Повязка. Натяни. Ноги согнули – раз! Обработка влагалища. Катетер. Мочи – сто пятьдесят миллилитров, светлая. Кровопотеря – пятьсот миллилитров. Всем спасибо. Пошли писать протокол.

Это всё, что он сказал за операцию. Да и то – для меня. До извлечения плода он был сосредоточен. Позже – напевал. Ни одного лишнего движения. Никаких показушных и натуральных психозов, в которые так любят иногда впадать хирурги. Ни одного громкого слова. Забавный анекдот на этапе ушивания матки. Щипок санитарки за зад на закуску. Дружеский шарж в подарок.

– Никогда не тяни зеркало и крючки – просто держи. Не протирай в ране – это не пол – промокай, не травмируй сосуды. Зажим на пуповину – примерно посередине. Обязательно кюретаж и посмотри, как сократилась матка. Не верь, не бойся, не проси! И не делай такое серьёзное лицо. Жизнь – забавная штука. Больница – цирк. Акушеры – клоуны. Эквилибристы. Эксцентрики. Жонглёры. Трудяги. Кстати, завтра утром плановая – пойдёшь со мной. Будешь шить. А пару дней спустя – и резать. Не моргай подобострастно и благодарно – поздно придуриваться. Ты поняла, в чём этот божественный прикол. Давай, дуй, покури – и с историей ко мне в кабинет.

Я было отправилась в подвал, но меня окликнул Сергей Алексеевич. Оказалось, что курить «категорически запрещено» ещё и на чердаке. Опять же у лифтов. Мы мило посмеялись. Кокетничал Серёжа ещё термоядернее, чем я. Мне он не очень понравился. «Кобель!» – подумала я, ещё не догадываясь, что на предстоящие годы мы связаны не только работой, но и дружбой.

– «Сука!» – восхищённо подумал я, – смеялся год спустя Серёжа, когда мы курили уже в изоляторе наблюдательного отделения, празднуя Новый год на рабочем месте.

В кабинете Пётр Александрович, налив ещё по пятьдесят, бегло рассказал мне, что, как и куда написать. Настолько бегло, что на следующее же утро я получила по самое «не могу» на утренней врачебной конференции, названной каким-то шутником в незапамятные времена «пятиминуткой». «Пятиминутки» длились от двадцати минут до полутора-двух часов – по обстоятельствам. Я же была первым интерном, удостоившимся персонального выпада начмеда. Меня запомнили. А я, отстояв полтора часа в операционной после бессонной ночи, ещё до вечера писала текущее и переписывала предыдущее.

Потому что писать Пётр Александрович не умел и не любил. Этому меня учил другой.

Вся ночь прошла в родзале – две роженицы были переведены из отделения патологии беременности. И ещё трое поступили «с улицы». Так что в первую мою ночь я лицезрела явление на свет божий пяти младенцев, не считая «кесарского». Я вскрыла плодный пузырь под чутким руководством Петра Александровича. Раз пятнадцать выполнила внутреннее акушерское исследование. Ушила три шейки матки с разрывами на «девять», «двенадцать» и «три», выполнила эпизиотомию, зловеще хрустнув ножницами по бывшему рубцу. И узнала, что резаную рану промежности ушивать легче, чем рваную. Перезнакомилась с персоналом. Платонически влюбилась в прекрасного неонатолога и возненавидела противную писклявую нерасторопную лаборантку. Навсегда пропахла йодонатом, хлоргексидином и бог знает чем ещё. И получила целую гору историй родов, которые следовало подробно расписать, не упустив ничего важного.

Мне несказанно повезло. В одном месте и в одно время собрались именно те, кто мне был нужен. У кого можно было научиться всему – было бы желание. Впрочем, чего ещё можно было ожидать от многопрофильной больницы. Умножьте Петра Александровича на хирургов, неонатологов, травматологов, урологов, невропатологов, терапевтов, реаниматологов, патанатомов, администраторов и юристов. Умножьте первую бессонную ночь на триста шестьдесят пять. А получившуюся сумму – ещё на годы. И вы получите обычный путь обычного врача обычной многопрофильной больницы.

Я стала предельно внимательной и беспредельно небрежной. Я стала верить даже в ритуалы вуду и не верить никому ни за какие коврижки. Я научилась контролировать не только написанное, но и сказанное. Я причастилась к таинствам жизни и обычных житейских дряг. Я смотрела в лицо чужой смерти и наблюдала множество рассветов, недоступных спящим в этот час. Я поняла, что между смешной «эзотерикой», великой «литературой» и обыденной «жизнью» нет никакой разницы. Я стала быстрой и мобильной. Я научилась скручивать вечность в секунду и раскручивать мгновение в последовательность действий. Но я осталась самой обыкновенной. Ругающейся матом и напевающей что-то из Моцарта в операционной. Непогрешимой и многогрешной. Бродящей в лабиринтах Тьмы, но знающей Свет. Доброй и злой. Спокойной и нервной. Сытой и голодной. Обычным человеком. Таким, как вы. Таким, как я. Я спасала жизни. И губила их. Я пью кофе, чай и водку. Сок и воду. Люблю женщин и собак. Мужчин и котов. Или не люблю. Я более других осведомлена, что курить вредно. Я могу с биохимической, патофизиологической и даже патанатомической точностью рассказать вам, почему курить вредно и чем это грозит. И всё равно курю.

Я благодарна всему за всё. И первой ночи моей жизни. И буду благодарна последней. И даже тому, что я немногим более прочих клоун. Клоун, остающийся Белым, даже сняв белый халат.

* * *

А ещё врачу кроме внимательности и небрежности, материализма и суеверия, веры и неверия, причастия к таинствам жизни и смерти свойственны скорости реакций, как у пилотов истребителей или у офицеров спецподразделения по захвату секретных военных точек в глубоком тылу противника.

Так что мой вам совет: не просите у опытного хирурга ночью в тёмном переулке закурить.

Милочка и йод

Давным-давно, когда воробьи заливались соловьями, я работала акушером-гинекологом. И привели ко мне как-то раз девицу.

Девица была очень беременная, весьма хороша собой и манернее бельгийского белого шоколада с изюмом и нугой. В те стародавние времена существо по имени «гламур» проходило первые стадии эмбриогенеза на наших бескрайних просторах, и она была первой его ласточкой. Ласточкой в девяносто семь килограммов живого веса. Назовём её, скажем, Милочка.

Привела её ко мне, предположим, Люсечка, имевшая благоприятный экспириенс родоразрешения под моим чутким руководством и при моём скромном участии. Люсечка сообщила мне загадочным многозначительным тоном, что Милочка – любовница Иван Иваныча и плод в чреслах ея – результат пылкой, но тайной любви с указанным средневысокопоставленным товарищем. И сакрально выдохнула: «Милочка – врач! Стоматолог...» На последней ноте сей увертюры Милочка брезгливо-приветственно кивнула мне свысока, как VIP-клиент кабацкому халдею.

Тут я вынуждена сделать лирическое отступление. Я весьма уважительно отношусь к стоматологам. Мало того, единственный мой друг женского пола – стоматолог. Нет. Не Милочка. Но я, к стыду своему, мало что понимаю в кариесах, пульпитах и вряд ли когда-нибудь возьму в руки бормашину.

Милочка же знала об акушерстве-гинекологии всё. Она была уверена, что у неё несомненные показания к кесаревому сечению, потому что ей двадцать девять лет, а рожать – больно. Она не посещала женскую консультацию, потому что «все врачи – дураки!», а кое-как уточнённый мною с помощью «дурацких» методик срок в 38–40 недель Милочку не устраивал. Потому что, по её словам, было «месяцев семь». В общем, она безапелляционным тоном поведала мне, что и в какой последовательности я должна делать. И, как добрая барыня, в конце своей речи эдак свысока благодушно добавила, мол, не забудьте жиры лишние убрать, раз уж вы будете «внутри». И – да! – а как же! – шов только косметический! И чтоб никаких ей!

Конечно-конечно! И круговую подтяжку ануса! У нас же вывеска над роддомом так и гласит: «Клиника пластической хирургии». Спорить с беременным стоматологом – неблагодарное дело. Пациент, естественно, всегда прав, а дальше – как доктор прописал.

Посему я попросила Милочку завтра явиться на плановую госпитализацию в наблюдательное отделение родильного дома. Холодно кивнув мне на прощание, она сказала: «Хорошо! Завтра мы с Иван Иванычем будем, и вы ещё посмотрите, у кого тут тридцать восемь и сорок по Цельсию!» Властно цапнула Люсечку за рукав и рявкнула: «Что ты нашла в этой пигалице?! Пошли!»

Ночью заорал телефон:

– Я рожая!!!

– Кто «я»?

– Ну я, Милочка!

– У вас схваткообразные боли внизу живота? Выделения? отошли воды? Что конкретно?

– Я встала пописать, и у меня заболела спина.

– Милочка, выпейте таблетку но-шпы и ложитесь баю-бай. Завтра, как и договаривались, – подъезжайте с утра. Мы вас госпитализируем, обследуем, и всё будет хорошо.

– Доктор, я рожая!!!

– До свидания, Милочка.

Она позвонила мне ещё раз пять за ночь.

Но куда там! Никакие увещания, уговоры и угрозы не действовали. Милочка перешла на визг: «Режьте меня! Режьте меня!! Режьте меня!!!»

Динамика открытия была ни к чертям. Сердцебиение плода начинало помаленьку страдать, потому как все силы Милочки были брошены на демонстрацию невыносимой боли за несправедливость мироустройства. Генератор лучистой материнской энергии, анонсированный Творцом как целевое устройство родовспоможения, начинал дымиться от перегрузки. Ведь на него повесили и мотор, и дальний свет, и концерт группы «Iron Maiden» с акустикой в тысячу ватт.

Не буду утомлять вас узкоспециальными подробностями. Промучившись ещё пару часов, я поняла, что созрели те самые «по совокупности показаний со стороны матери и со стороны плода», и, записав в историю родов правду, правду и ничего, кроме правды: «Слабость родовой деятельности, не поддающаяся медикаментозной коррекции. Начавшаяся внутриутробная асфиксия плода», отдала распоряжение развернуть операционную. За время эпопеи с Милочкой в родзал к тому же поступило ещё двое, и у меня не было ни малейшего желания изводить не только бригаду, но ещё и ни в чём не виноватых рожениц. Знаете, как бывает, когда в конюшне появляется конь с вредной привычкой? Ну, например, шумно заглывать воздух. Вся конюшня, весело фыркая, начинает повторять. В результате – поголовное мучение желудочно-кишечными коликами. А надо было всего лишь превентивно удалить одного шалопаю.

Между тем Милочка пообещала анестезиологу загрызть его живьём, если ей будет хоть «капельшечку дискомфорта». Уже лёжа на операционном столе под среднетяжёлым дурманом премедикации, она схватила меня за ляжку и зловеще прошептала: «Косметика!!!»

Ну ладно, эта дура набралась где-то околоподъездных сведений... Но вот какой чёрт дернул меня – неглупую ученицу одних из самых-самых акушеров-гинекологов, не побоюсь этой пошлости, современности?.. Не иначе, как усталость сказала или ПМС у меня был. Теперь уж и не упомню. После всей этой рыхлой и не по сезону Милочкиного возраста пожелтевшей подкожной клетчатки, после всех этих дрябленьких мышц, этой синюшной брюшины, этих вяловолокнистых апоневрозов и варикозной матки я вместо того, чтобы заштопать её, как доктор Донати прописал, наложила ей косметический шов. Аккуратненький такой. Без «ротиков» и прочих дефектов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.